

.7

fofo

Solo

ФОТО

СОЛО

**ПРОЗА
ПОЭЗИЯ
ЭССЕ**



МОСКВА 1991

Издатель

производственно-коммерческий центр "АЮРВЕДА"
101000, Москва, ул. Кирова, 40

Редакционная коллегия

Андрей БИТОВ
Зуфар ГАРЕЕВ
Владимир ЗУЕВ
Александр МИХАЙЛОВ
Евгений ПОПОВ

представитель редакции за рубежом

Дмитрий ДОБРОДЕЕВ

Münchner Ring 2
8044 Unterschleißheim
Fed. Rep. of Germany

Tel. 089 - 317 54 86
Fax 089 - 310 49 47

Желающим получить журнал "СОЛО" необходимо перевести 3 руб. 50 коп. за каждый номер почтовым переводом (организации могут оплатить платежным поручением) на р/с производственно-коммерческого центра "АЮРВЕДА" - № 4461632 в Бауманском отд ЖСБ г. Москвы. ИФО-201359. В графе "Для письменного сообщения" (в платежном поручении - "Назначение платежа") указать: "За журнал "СОЛО", № ...", затем выслать квитанцию об оплате с указанием номеров и количества экземпляров, а также подробного адреса и фамилии получателя по адресу:

109652, Москва, ул. Подольская, 25, кв. 212, "СОЛО"
телефон для справок в Москве - 925-54-85

Продажу журнала "СОЛО" за рубежом
осуществляет книготорговая фирма

KUBON & SAGNER BUCHEXPORТ-IMPORT GMBH
8000 München 34, Postfach 340108
Telefon: (089) 522027
Telex: 5216711 kusa d
Telefax: (089) 5232547

В НОМЕРЕ:

НОВЫЕ ТЕКСТЫ

Владимир АЛЕКСЕЕВ. Проза:

Кентавр	4
Дон Жуан	5
Жизнь	8
Пропавший	11
Памятник	15
Кирилл ФИЛИППОВ. Стихи	19

Михаил НОВИКОВ. Проза:

Иными словами	23
(Проклятые) вопросы	24
Женщина Медной страны	25
Вьетнамцы	27
В.К.	28
Дефект Лома	30
Множество искушений	32

Лев ТАРАН. Из романа Александра Лещёва (А.С.Лещёва)
 "Каждое воскресенье пополудни..."

Александр ЖОЛКОВСКИЙ. "Жизнь после смерти"

МОНОЛОГИ

Игорь ЯРКЕВИЧ

Тираны и сатрапы	84
Временное правительство	88
Два писателя	91

Владимир АЛЕКСЕЕВ

КЕНТАВР

Будучи кентавром я пережил массу неприятных мгновений, связанных с моим телесным несовершенством. А именно - с тем самым разрывом, с тем самым раздвоением меж моим лошадиным туловищем и человеческой головой.

Постоянное страдание, которое я испытывал от своего вида, когда находился в человеческой среде, заставляло меня унижительно прятать в различные одежды мое тело, что доставляло мне много проблем: я не мог раздеться на людях, а самое главное - будучи влюбленным выказывать свое естество. Я мучительно краснел и скрывал свою тайну, подобно тому, как калека скрывает свой изъян, в то время как ему постоянно кажется, что о нем все знают.

Разумеется, находиться в лошадиной среде я вовсе и не помышлял, ибо человеческую голову, как не старайся, все равно не спрячешь: я бы сразу был узан своим телесными собратьями и, само собой, с позором был бы ими изгнан.

Вот отчего я старался не выходить без нужды из дома, не общаясь ни с теми, ни с другими, но постоянно мечтая о встрече и особенно о прекрасной любви, как в той, так и в другой среде, мысленно соединяясь с той или иной представительницей прекрасного пола этих различных видов общемировой фауны.

Все это доставляло мне мучительное наслаждение и вызывало краску стыда. Я не находил себе места. Я мечтал о самоубийстве, постоянно думая о своем роковом раздвоении.

Надо думать, подобное положение приучило меня к чтению и, соответственно, к размышлению.

И наступил такой день, когда я в состоянии глубокого размышления вышел на улицу и проследовал по ней без всякого унижительного стыда за мои торчащие из-под одежды копыта.

Странное дело - никто, кажется, не обратил внимания на этот мой существенный недостаток. Все нашли, что я вполне нормально выгляжу, и даже за эти годы, проведенные мною в одиночестве, я слегка раздался в плечах и пополнил.

- Ну-ка, сними свой балахон, что ты так тепло одет? - сказал один мой старый приятель, срывая старательно укрытое попоной мое большое тело, оставляя лишь легкую одежду, способную выказать мое несовершенство. - Вот так-то! - добавил он. - Так тебе значительно лучше. Ходи всегда так.

И - с тех пор мои дела значительно улучшились: я был принят в человеческую среду.

Глупый, я не знал той простой истины, что в тех формах, что ты мыслишь, в тех ты и существуешь. Я уж не говорю о невозможности мне мыслить в иных формах, чем человеческие.

И все-таки, когда я устаю от суеты городской жизни, от этого постоянного крика и визга людей, детей и трамваев, от этого постоянного соприкосновения человеческих тел, рук, губ, от запаха их духов и пота, — мне хочется во сне и наяву убежать за город, в свежие травы, дабы улечься в них сильным конем — конягой. А потом встать и отправиться по полям и равнинам моей прекрасной родины. Медленно идти, куда глаза глядят, лишь наклоняя свою лошадиную голову вслед за кормом...

И я проклинаю данную мне способность мыслить. Я мечтаю о будущем, где кентавр займет достойное место на этой земле и будет счастлив.

ДОН ЖУАН

Было бы неверно причислять меня только к одному из нескольких типов европейского человека, что в какой-то мере делает известный датский философ, коий приплел меня к так называемому эстетическому типу, объявив характерной моей чертой — отчаяние.

Ни в коем случае; отчаяние мне никогда не было свойственно. Я всегда отличался жизнерадостностью и весьма солнечным характером. Это скорее можно отнести к тем самым (а я встречал таковых) донжуанчикам, мужчинам-юношам, чья ущербная и яркая красота была скорее феноменом некоего вырождения. Подобно тому, как в свое время начала вырождаться европейская живопись, бросаясь из крайности в крайность: то мы видим на полотнах художников гигантские фигуры, то настолько мелкие, что трудно отказать им в отсутствии красоты, ибо безобразие мелких лиц можно разглядеть только на близком расстоянии, и то, я думаю, в жизни, а не в живописи, чьи средства ограничены и не позволяют выявить больше одного, двух, от силы трех выражений.

Я же, если в какой-то мере и относился к подобному типу европейского молодого человека, то во мне не было столь много горделивого и холодного начала, чтобы застыть в прокрустовом ложе красивого мужчины, лелеющего свои телесные интересы и наслажденческие удовольствия, и часто сопровождающего свои уличные прогулки каким-нибудь посторонним предметом в виде изящной болонки или терьера, или возвышенной шляпы, или сущей безделицы, доставшейся по наследству — серебряного будильника, засунутого в третий и, несомненно, самый маленький карман демократических панталонов. Я же весь был стремительность и чувственность, хотя и не без аполлонийского спокойствия, данного мне не столько воспитанием, сколько моим происхождением, а если я иногда в какой-то мере и пользовался обманом (несомненно, ложь есть известный движитель

амурных отношений), то я сразу же готов в том признаться.

Все это говорит о моем душевном здоровье, тем более, что я никогда не чувствовал угрызений совести по отношению к оставляемым мною женщинам, ибо большинство из тех, кто некогда меня любили, считали за счастье хотя бы еще одну встречу со мной. И даже гораздо позднее, даже находясь в неоднократном замужестве, они были готовы, что называется, снова, по второму кругу начать со мной то сладостное состояние, ту любовь, которую я собой вызывал.

Сын испанской анархистки, погибшей в Мадриде, и советского полковника, пропавшего за колючей проволокой сибирских лагерей, я носил в себе черты моего поколения, моего сиротского детства, хотя и воспитывался в достаточно обеспеченной семье моих русских родственников.

И все же, сознание того, что я - испанец, что я почти не причастен к этой стране, к ее страстям и потерям, слегка отчуждало меня от окружающего мира, что, несомненно, подчеркивалось и южной красотой моего спокойного и как бы бледного лица.

Будучи вхож в дома высокопоставленных чиновников многошумного столичного города, проводя в праздной неге все свое время с женами и дочерьми этих малообразованных и часто грубых людей, пахнущих дешевым одеколоном и коньяком, я наткнулся на обычный вопрос, который без всякого стеснения бросался мне в лицо в присутствии единственной и, разумеется, весьма любимой дочки, как это случилось однажды, когда мы (я и она) сидели на заднем сидении черного лимузина, а на переднее, тяжело дыша, ввалился огромный детина и, мрачно взглянув на меня, спросил: "Ты кто?" Показывая тем самым все его ко мне отношение, а я это значительно позднее понял, и все его презрение к моей инородческой внешности, относя мое происхождение или к вечно гонимым представителям известного племени, или, что было еще более оскорбительным, к многочисленным народам Кавказа.

- Ты что... грузин? - спросил этот тяжело дышащий медведь, когда мы сидели уже втроем, в гостиной среднего достоинства московской чиновничьей квартиры, на что я был вынужден с улыбкой парировать вопрос, впрочем, почти не разочаровывая вопрошающего.

- Нет, ибериец, - сказал я.

- А... - сказал этот грубый человек. - Ну, все равно - грузин.

Помнится, он так взглянул на меня, что я сразу же понял: если что-нибудь дурное произойдет с его "малым дитем", с его "драгоценным чадом", с ним шутки плохи.

(Вообще, эта любовь высокопоставленных и часто проворовавшихся чиновников к своим детям удивительна; один мне даже признавался, что он ради своих детей готов, если надо, кого угодно убить. Создается впечатление, что им, потерявшим совесть и честь, ничего не остается, кроме как уповать на будущее, то есть, на своих детей, что мне кажется

весьма наивным: детишки подобных чиновников, как правило, еще более циничны и развращены, чем их непрехотливые предки).

Вращаясь, в общем-то, если и не в кастово замкнутой среде, то, по крайней мере, ограниченной: начальники главков, завмаги, журналисты и замминистры, а вернее, их немногочисленные отпрыски, часто занимающиеся тем, чем обычно занимается столичная богема, то есть болтовней и выпивкой, я так или иначе нажил себе много врагов, хотя и продолжал безбоязненно кочевать из дома в дом, часто сопровождаемый моим верным другом, моим Лепорелло, известным советским поэтом Х.

Этот Х. был весьма инфантилен, если не вовсе глуп. Я уж не говорю о тщеславии этого человека: он был уверен, что именно он и есть один из классиков мировой литературы. И, хотя я не думаю, чтобы он знал о существовании Кальдерона или Аларкона, он хорошо разбирался в марках европейских вин, что иногда поступали в столичные магазины и рестораны. Впрочем, он сам бывал несколько раз за границей, чем очень гордился — черта, в общем-то, свойственная русским, ибо побывать за границей для них есть предел чуть ли не счастья. Таковы, очевидно, условия жизни в этой стране, ибо вырвавшийся на некоторое время за границу, ее обитатель прямо-таки дуреет и, вследствие своей многовековой провинциальности, никак не может прийти в себя, чувствуя себя же случайно забредшим в город лесным зверем, шарахающимся из стороны в сторону при виде заграничных жителей и улиц.

Так вот, вращаясь в довольно замкнутой среде, я нажил себе достаточно много врагов, тем более, что кое-кто из моих покинутых пассий пытался покончить с собой (одна из них прыгнула в Москву-реку, но была спасена случайным прохожим). Я же продолжал жить беспечной жизнью, хотя отцы и братья моих многочисленных возлюбленных были готовы разделяться со мной и, может быть, разделались бы, если бы не боялись правосудия.

Так продолжалось до тех пор, пока я не вышел на сотрудника комитета государственной безопасности, **этого** командора, **этого** полковника, чья жена имела неосторожность влюбиться в меня и даже несколько раз под покровом ночи встретиться со мной у себя на даче.

Эта ее оплошность чуть не стоила мне жизни, ибо уж она-то должна была знать, что все вокруг нее просвечивается и прослушивается, я уж не говорю о том, что записывается на пленке, дабы потом предстать глазам и ушам посторонних, для коих это является каждодневной работой.

— Что ты делаешь? — сказал мне мой друг, мой Лепорелло, когда мы, сидя в ресторане, тихо наливались шотландским виски. — Все может кончиться печально. Тебе надо срочно скрыться из столицы. Я уж не говорю о том, что хорошо бы тебе вообще на время слинять... куда-нибудь за границу. Ты не представляешь себе — с кем ты схлестнулся...

При этом мой друг, как мне показалось, поблдедел.

Разумеется, многочисленные мифы и слухи о всемогуществе этой организации доходили до меня, и я постарался послушаться его совета и, пока не поздно, уехать, взяв билет на скорый поезд в направлении второго самого большого города этой великой страны.

Каково же было мое удивление, а потом - восхищение, когда рядом со мной, в одном купе оказался **ЭТОТ** ее мужественный муж, **ЭТОТ** ее командор, **ЭТОТ** полковник, который в течение почти всего пути внимательно наблюдал за мной, впрочем, ничем не выказывая своего особого внимания.

Надо думать, все было по-русски. Мы пили водку и говорили о том, о сем, а потом, не сговариваясь, вышли в тамбур, где я ему и протянул свою руку - на его угрожающий призыв и явное желание тут же разделаться со мной, скинув меня с поезда; при этом утверждалось, что он поступает как настоящий мужчина, совсем не желая пользоваться своим служебным положением, несмотря на то, что я его опозорил...

- Руку! - кричал этот человек, когда поезд всюду стучал колесами, а за окном были мрак и ночь, и дверь была распахнута наружу (очевидно, услужливым проводником). - Ты меня опозорил! - кричал он еще и еще, что говорило скорее о том, что он не столько расстроен, что ему изменила жена, но что **ЭТО** может стать известным...

Я протянул ему руку и резко, вместе с собой, выбросил из вагона, стараясь подмять его и оказаться сверху.

Удар, еще удар, несколько переворотов, когда я, после значительного броска в сторону, отпустил его и покатился под откос, теряя сознание...

"О, Дон Жуан!.. - говорил я сам себе, когда терял сознание и, впрочем, когда в него приходил. - Тебе ли погибнуть в расцвете лет под откосом?!"

После чего я поднялся и пешком, по шпалам отправился по направлению к Москве. Донна Анна ждала меня на своей загородной асьенде.

ЖИЗНЬ

Все началось с того самого дня, когда я родился.

Помню этот скучный серый день, когда я родился: был какой-то праздник, несли какие-то знамена, флаги, работницы в платках проходили, комсомолки...

Да, кажется, так и развернулась моя жизнь, моя грустная и печальная жизнь, моя детская бедная жизнь.

Потом что-то грохнуло: ракета ли в небо взлетела, танки вдруг поползли, самолеты взлетели; маменька моя бедная: "Эх, папенька с фронта приехал..."

Да, папенька с фронта приехал и пошлó, и пошлó...

Помню, в магазинах по пол-кило чего-то давали, потом папенька тыкал меня носом в сметану: "Не проливай, - говорил, - не проливай..."

Потом страх, страх, что двойку получу, тоже помню. Потом больница, палата, склоненное надо мной лицо с белым таким кружком на лбу. - Вот, - говорят, - засыпай, - говорят, - все хорошо будет. Я и заснул.

Потом опять "загремели барабаны и отступили басурманы" - и это было...

Но самое главное не в этом, самое главное в том, что однажды жил я с моими папенькой и маменькой в десятиметровой комнате - очень трудно жил: скандалили много...

Помню, росли в саду какие-то деревья, я гулял, одинокий такой третьеклассник; заблудился, слезы у меня были...

Плакал, трое хулиганов подошли, платочек из кармана вынули - и в нос, в нос...

Да, и это было, и это было.

Было и то, как я куда-то все учиться поступал, все учился, все карьеру хотел сделать: страх был, экзамен сдавал. И все жили мы в десятиметровой комнате, все скандалили: папенька маменьку бил, и ему иногда от меня попадало.

Да, помню, я еще плакал в своей жизни много. Что-то давило у меня в груди, что-то ныло, что-то мешало мне жить.

Сосед в раковину писал, и это помню, праздники октябрьские помню, толпа, демонстрация, работницы в платках проходили, комсомолки, я - с флажком...

Да, комсомолки... Потом, помню, и я был комсомольцем, и все на работу куда-то ездил, на подножке висел, зачем? И не знаю - зачем висел? Помню, там была еще одна труба, а под ней три дерева - и это помню. Потом я с завода ушел...

В экспедицию ездил: геологи были все с мешками, все с рюкзаками - и это было.

Потом женился; жил; снимал комнату, потом с тещей жил - и это помню. Нет, там что-то от темных ночей было; все казалось, что вдруг за мной приедут какие-то люди в фиолетовых одеждах и увезут.

Да, вот еще - огни вечернего города; помню, они меня сводили с ума. Сводить-то сводили, а свести не могли.

Жена спуталась с кем-то, ребенок плакал, теща ругалась - и это было...

Потом я бросил учиться: надоело мне все - ложь мне надоела. Любил я в автобусах кататься: едешь себе в одиночестве - никто тебе не мешает, думаешь о чем-то...

Помню я себя у ночного стекла, на заднем сиденьи, помню, и дождь, все помню...

Помню, когда жена спуталась, и я спутался...

Было скучно. Помню, была темнота; помню, приятеля жену обнимал: мстил я тогда много. Как увижу ложь - так и мстил.

Помню, раздел я ее и на пол-дороге бросил:

- Импотент, - говорю. - Иди, - говорю, - не блуди.

И это было.

Скучно жил. Мне всегда, как сознателен стал, было скучно. Хотелось от сознательности куда-то сбежать. В оленя какого-нибудь превратиться, да папенька не давал, все говорил: "Иди работай", потом жена, потом ребенок... Вот я и устал.

Потом пить начал; знал, что нехорошо делаю, а пил.

Помню себя у пивного ларька, с пивной кружкой, пену помню. Еще были там три девки, грязные такие... Одна и говорит: "Пошли?!" - я и пошел.

Грязно было как-то: я бежал, а она гналась за мной и все показывала ноги, мол, не грязные они.

- Что, не хочешь?! - кричала. И это было.

Помню, решил с собой покончить, надоело мне все, работа и все... Было мне под сорок. Все думал, как лучше сделать: то ли куда-нибудь уплыть в Финский залив, что ли? Или еще куда-нибудь? То ли мне свободы захотелось? То ли я устал, вот мне и захотелось свободы?

Помню, залез я в шкаф, выпил сорок пять таблеток и заснул. Проснулся в сумасшедшем доме: жена плачет. Чего плачет? Спуталась давно, а плачет: все они плачут, когда умрешь.

Вот маменька - поедом ела. Стоило папеньке умереть - в слезы.

- Что плачешь? - говорю. - Вся жизнь мучила, а теперь плачешь?

Так и со мной: поплакали, поплакали и разошлись.

Вот, помню хорошо только своих друзей, да своего сына. Хороший такой ребенок, ласковый как ангел, все книжки читал.

- Папа, - говорил, - не грусти, папа...

Что касается моих друзей: я их любил, а они меня нет. Почему - и сам не знаю. Наверное, потому, что я был как-то загрязнен: детство у меня было грязное - в носу много ковырял, что ли? А если подумать - не в этом дело.

Дело в том, что я все время хотел вырваться из пут жизни, а не мог, не мог!..

Сил не хватало, что ли? Красоты, что ли? Ранен был, что ли? Прямо в самое сердце ранен...

Не вынес, так сказать, грязи жизни, и сам загрязнился: ибо в этой жизни ложь правит.

Это я слишком поздно понял. Надо было раньше понять, тогда, может быть, был бог; или в монастырь бы ушел, или еще что-либо...

Когда я это понял, помню себя на улице. Помню, вышел на середину

и пошел, и пошел...

- Иду! - кричу. - Иду!

Кто-то выбежал, оттолкнул и сам чуть под машину не попал. Было мне тогда пятьдесят.

Хватит, думаю, пора доживать как все. Вот я и стал доживать: только скучно.

В небо как-то хочется улететь, в голубое - синее небо.

ПРОПАВШИЙ

Никакой гарантии, что он не пропадет.

Ведь было и раньше, и не у меня, что он пропадал, и, мало того, что пропадал, но и исчезал навеки, так что только название оставалось, мол, был такой-то, был и в таком-то году исчез.

Так и у меня может случиться: был и пропал, а потом ищи-свищи, призывай свою маму: все равно не отыщешь.

А если и отыщешь, то столько на это сил истратишь, что лучше нового сделать - и какого нового? - лучше старого нового.

Хорошо вам, когда вы еще молоды, вы еще можете лучше старого нового сделать. А каково мне, когда я, можно сказать, завершение жизни сделал? Каково мне, если он пропадет?

Слабое утешение, и особенно, когда понимаешь, что кто-то где-то над тобой смеется, кто-то где-то сидит и смеется, и смеется как-то исподтишка; одним словом, нехорошо смеется, садистически, можно сказать, смеется; как будто этим хочет сказать: "Ты вот делай, делай; копи, копи его, а мы вот, наступит время, придем и возьмем."

И возьмем так, что ты никогда не узнаешь, где он и что с ним, потому как нам все можно: захотим и ты пропадешь, так что был ты или не был, никто, кроме твоих близких и знать не будет.

А то, что ты исчез, то, что ты пропал, так к этому привыкнут, мало ли пропадало за всю, так сказать, историю, и мало ли, что еще пропадет.

Поговорят, поговорят и успокоятся. Ибо таково человеческое свойство: поговорить, поговорить и успокоиться.

Вот на этом-то мы и стоим, вот эту-то психологию мы и усекли, так что позволю нам самим решать, что с тобой делать, а что не делать".

Вот так или подобным образом рассуждает тот, кто где-то сидит и смеется, и не как-нибудь смеется, а торжествуя...

И то, что он смеется, то, что он торжествует, это как раз меня и страшит, это как раз меня и пугает. И пугает до того, что хочется иногда себя спрятать и спрятать куда-нибудь подальше.

Но поскольку себя никак не спрячешь: все равно найдут, - я и

решил его спрятать, ибо он у меня - самое дорогое в жизни, и кроме него ничего не было и нет.

Должен прямо сказать, что он им с самого начала не понравился.

То ли он мрачный был или еще какой-либо, неизвестно. Одно мне известно: не ко двору пришелся.

Бывало, приду к ним - покажу. Ну, говорят, что ты нам принес? Спрячь ты его обратно. Держи у себя дома и не выпускай. А то как бы хуже не было. Ибо что с тобой будет, когда кроме нас о нем узнают и другие? Уж они-то как раз и не потерпят его, а заодно и тебя с ним вместе.

Конечно, в нем что-то есть. Конечно, не совсем он плох, хотя и надо его как-то подскрести, а, может быть, подчистить. Но суть-то никак не уберешь, суть-то все равно останется, а суть-то, по нашему разумению, и **того**, не наша.

Нет, лучше ты убери его от греха подальше, не то - как бы хуже не было.

Вот за несколько лет у меня его и накопилось, и накопилось изрядно. Я уже понял толк в его накоплении. Я уже мысленно наслаждался этим самым, что ни на есть накоплением.

Бывало, достану его, смотрю. Эх, думаю, не напрасно я жил, не напрасно я в мир пришел; когда умру, авось, он останется.

Конечно, не всегда он хороший, не всегда он красивый, но искренний, искренний - вот что самое главное, ибо в наш век, как стало известно, искренность больше всего ценится, искренность на первом месте стоит, искренность, да еще правда.

И вот так смотрю я на него и рассуждаю, и, глядишь, мне эдак легче становится. От всех житейских бурь и невзгод легче становится, от всех несправедливостей легче становится, что со мной и другими происходят.

И вдруг - как снег на голову: пропал он, совсем пропал.

Нет, конечно, он не совсем пропал, не весь пропал, кое-что у меня сбереглось, кое-что от него осталось: ведь не в одном же месте я его держал, не в одном же месте я его лелеял, ибо знал, знал, что стоит ему подрасти, стоит ему вырасти, как они сразу же за ним и придут.

О, я давно уже знал, давно, что стоит только кому-нибудь больше обычного высунуться, как сразу же для этого высунувшегося и становится опасно.

Не случайно гром чаще всего над большими деревьями гремит, и не случайно в них молния чаще всего попадает.

Так и с ним. Стоило ему показать себя (в чем я сам виноват: сидел бы себе тихо, ждал бы лучшей поры), как они ко мне своего представителя и прислали.

Вот пришел ко мне представитель и говорит:

- Я, говорит, представитель, я, говорит, представление имею, так что давай-ка мне его и покажи.

И на портфель показывает и в руки берет.

Тут мне и пришлось с ним расстаться, не совсем расстаться, а так, с одной его частью, но все-таки пришлось.

"Эх, - думаю, - осел я, осел; медведь я, медведь... Надо было его давно спрятать. А я ... Да..."

А все - тщеславие, все гордыня, все желание благ... Вот оно и случилось. Будь я поумней, такого никогда бы не случилось.

Да, будь я поумней, этого бы никогда не случилось.

Вот я и решил его, оставшегося, спрятать, и спрятать так, чтобы его никто, кроме меня, найти не мог.

Думал я, думал, куда его спрятать и, наконец, додумался.

То мне его хотелось в море отправить, то на глубину опустить, то на луну забросить, так чтобы его совсем нельзя было найти...

Но все это отпало.

Потому как в море и на глубине, и на луне его потом совсем не достанешь, а самое главное: он сам обратно вряд ли вернется.

Вот я и решил его в землю закопать, тем более, что я живу на окраине: тут рядом и лес, и поле, и огород. А город за спиной стоит, когда я в поле на этот лес смотрю.

Стал я думать, как я его в землю положу, как и когда.

И, наконец, додумался.

Решил я нечто вроде колодца сделать, а от колодца ров прокопать, чтобы он как раз под самой, что ни на есть, березой был.

(Это я точно подсчитал, а потом на бумагу занес и примерный план составил.)

Береза посреди поля стоит, и такая высокая, раскидистая, что так бы я рядом с ней, так бы всю жизнь с ней и дожил...

Бывало, лежишь под ней, а она шумит, шумит...

Какие думы она навевает? Что шумит? О чем плачет?

Да и мне под этот ее шум хотелось плакать. Плакать и вспоминать всю свою жизнь. Где жил? Как унижен был? И как из этого унижения он вырос, и как стал я любить его и, благодаря этой любви, любить и еще кого-то, вот, скажем, березу...

Бывало, солнце припекает, кузнечики поют, зверобоем пахнет - хорошо!

И вот теперь - закопать. Грустно. Как подумаешь, что он сырой земле достанется и, неизвестно, вернется ли обратно, целый и невредимый, или где-то сгинет, не доставшись ни мне, ни им - одинокий?..

"Как?! - думаешь. - Стоило ли его мне растить, стоило ли мне его

лелеять, если придется с ним вот так вот расстаться".

Да, как подумаешь над всем этим, так и думать не хочется - лучше уж об этом не думать.

Ну так вот: отмерил я от березы четыре шага и стал копать. Копаю, копаю - пот льет, лопата звенит, должно быть камни попадаются - выкопал яму эдак метра в три - ну, думаю, хорош!

Прокопал еще в сторону березы, так что вроде пещеры получилось, и решил больше не копать.

Хватит, думаю, пора и наверх, пора и за ним, чтобы его сразу же в землю и положить.

Вылез я наверх, посмотрел на него - грустно стало.

Лежит он себе на земле и не дышит, только слова на нем горят, будто его кто в печь положил или в огонь бросил.

Ну, думаю, пускай же он ни им, ни мне не достанется, пускай же он лучше в землю уйдет. А ось, когда-нибудь прорастет. А ось, когда-нибудь его следопыты найдут и, найдя, в музей снесут или еще куда-нибудь, вот, например, в школу.

Ведь наступит же, наконец, время, что его в школе будут изучать, и, мало того, что изучать, но кое-кто и полюбит...

Тут я начал думать об этих "кое-кто". Об этих веселых и смешных "кое-кто". Об этих умных и любимых "кое-кто". И так мне стало совсем грустно. Ведь, может быть, думаю, я и растил его для этих "кое-кто". Ведь, может быть, и жить-то стоит ради этих "кое-кто", и не только жить, но и любить.

Подожел я к нему, взял. Ну, думаю, прощай и прости. Прощай и прости навеки.

Альфю и омегу вспомнил. Терние.

Да, многое я в то время вспомнил. Как бежал я по деревенской улице и катил колесо; ребенком бежал, мальчиком бежал, куда бежал? - и не знаю, куда бежал.

Потом березу вспомнил: большая такая береза, а под ней коза, а рядом с козой - дом, а из дома выглядывает курица, а в глазах у курицы - улица.

Да мало ли что в глазах у курицы, вот, скажем, какое-нибудь ячменное зернышко или стеклышко у нее в глазах.

Стою я так и вспоминаю, в руках его держу, в яму готовлюсь опустить. А он то ли почувствовал, что я собираюсь сделать, то ли в руках у меня ему надоело быть, - как вырвется, да как побежит, так что я только его и видел.

Пробежит, упадет, встанет и опять пробежит, и так дальше.

Добежал он до леса и как вдруг вспрыгнет, как полетит! И полетел, полетел...

Ладно, думаю, очевидно, он и сам знает, что ему делать. Очевидно,

ему самому знать, что делать, а что не делать. А не мне и не им.

Вздохнул я облегченно и пошел яму закапывать: не оставлять же ее посреди поля.

И так мне стало с тех пор хорошо, так легко, словно я на свет кого-то нового родил, то ли сыночка, то ли еще кого-либо.

ПАМЯТНИК

Если говорить о властях нашего города, то, разумеется, они должным образом отнеслись ко мне. Мне было выделено несколько минут по теле-изору, где я заявил, что я, собственно, готов к тому, что в прежние времена называли жертвоприношением. То есть готовностью пожертвовать своей жизнью ради жителей нашего города. Надо думать, после этого мне поставят памятник.

- Очевидно, этого не потребуются, - заявил комментатор, а вернее, городской представитель, явно заинтересованный в моей судьбе. - Впрочем, никто не знает какие наступят времена; может быть, к власти придут военные.

- Военные? - страшно удивился я и даже промаршировал перед телекамерой. - Мне всегда нравились военные. В них всегда столько жизни, что они сами собой несут смерть.

Это умозаключение весьма не понравилось комментатору и, разумеется, это место впоследствии было вырезано.

Вообще, из того, что я наговорил перед телекамерой, было многое вырезано, что заставило меня не столько задуматься по этому поводу, сколько поразмышлять. Очевидно, я был еще не настолько велик, чтобы они были готовы слушать каждое мое слово, ничего не вырезая.

"Толпа, чернь, эпоха..." - говорил я сам себе, представляя, как удивятся горожане, когда проснувшись однажды утром, они увидят на одной из площадей нашего города памятник. И этот памятник будет мне. Надо думать, этот памятник будет изображать меня в шутовском колпаке и с бутылкой в руке, ибо при жизни я, помнится, никогда не расставался с бутылкой, хотя и должен сказать, что это еще не значит, что я как-то сильно пил. Нет, я пригублял...

Впрочем, власти нашего города позаботились обо всем. Они предложили заменить мне бутылку водки на бутылку кока-колы.

- Так будет лучше, - говорили они, - да и к тому же еще реклама.

- Так будет лучше, - повторил я, - да и к тому же еще реклама.

Разумеется, что касается шутовского колпака, они сочли лучшим его оставить.

- Шутовской колпак, - сказали они, - говорит о национальном духе. Впрочем, что скажут об этом военные?

- Военные, - помнится, повторил я, - мне всегда нравились военные. В них столько жизни, что они сами собой несут смерть.

Но вот произошел захват столицы. Меня вызвали на вертолете к премьеру. Премьер был щуплый, но старый вояка.

- Памятник придется отложить, - сказал он, - на этом месте построим кабак.

Я не возражал.

"Кабак так кабак, - подумал я, - стоит ли из-за этого копыа ломать".

После этого меня послали в Сибирь. В Сибири было много красной рябины и красной морошки. Я ел морошку, смотрел на закат, спал в чуме. А когда пришла пора расставаться, сказал:

- Я не склонен утверждать, что слово "чум" происходит от слова "чума". Хотя некоторые фонетические совпадения в разных языках говорят о какой-то общности. И то, что слово "чум" в какой-то мере похоже на слово "чума", говорит о том, что это слово в историческом своем развитии пережило движение в пространстве, так что, изменив свою первоначальную семантику, явилось иным народам в совсем ином свете.

Когда я говорил, местные жители плакали. Когда я кончил, они завернули меня в шкуры и отнесли в самолет.

Когда я прилетел в столицу, на мне не было лица.

Я думал, что я буду делать по приезду домой. Я думал, что я буду делать - и не находил выхода.

Везде были военные, они заполнили всю столицу и уже проникли в наш город, так что о прежних властях не было и слуху.

- А как же памятник? - спросил я однажды седого полковника, с которым я встретился у киоска, за покупкой газет.

- Плевать! - сказал полковник, и я уловил нотку иронии в его голосе.

По улицам двигались танки, и люди расступались при виде их. На гусеницах танков засохло что-то человеческое.

По ночам слышалась стрельба. Хлопанье пробок шампанского куда приятнее этих одиночных выстрелов.

Однажды я стал свидетелем немой сцены. Солдат стрелял в машину, которая выскочила из-за поворота. Из этой машины выскочила девушка и тоже стала стрелять.

"Они сделали переворот", - подумал я и понял, что памятника мне не будет.

Разумеется, то, что они сделали переворот, все восприняли неоднозначно.

Я был на даче, лежал в шезлонге, ел варенье.

Это меня удивило.

"Они высадили десант", - сказал я сам себе и стал смотреть в бинокль - как они приземлялись.

Надо сказать, зрелище было великолепное. Разноцветные парашюты напоминали мне детские надувные шары. Шары, помнится, лопались и не летели.

Я поднялся с шезлонга и вышел на террасу.

"Все кончено, - думал я, - сейчас они захватят почтамт и перережут коммуникации..."

Когда я приехал в город, в городе было чисто. Одинокие танки курсировали взад и вперед. Это настроило меня на элегический лад.

"Военные, - думал я, - везде одни военные. В них столько жизни, что они сами собой несут смерть".

Разумеется, тут же мне захотелось совершить подвиг. Я всегда был готов пожертвовать собой для всех.

Взобравшись на танк, я стал говорить. Я говорил о консолидации.

Когда я кончил, толпа разбегалась. Двое военных подталкивали меня к стене, чтобы расстрелять. Разумеется, я не сопротивлялся. Ибо погибнуть подобным образом - в моем амплуа.

Но тут появился седой полковник. Надо думать, он узнал меня и, надо думать, приказал не стрелять.

- Полковник, а как же памятник? - спросил я.

- Плевать! - сказал полковник, и я уловил нотку иронии в его голосе.

- Отпустите его домой, - сказал еще полковник, и меня отпустили домой.

Дома, прислонившись к стеклу окна, я смотрел, как они стреляли.

Они убили премьера, а президент был вынужден бежать.

Разумеется, мне ничего не оставалось, как ждать, когда наступит мир и к власти придет гражданское правительство.

Между тем наступила пора дождей, за которой пришла зима. Зима принесла много несчастий и много горя. Продукты первой необходимости вздорожали. Кое-кто сходил с ума и выбрасывался из окна на улицу.

Военные установили порядок, но не установили очереди. Эти очереди тянулись по улицам и загибались в переулки.

Никто не знал, что будет дальше. Молча роптали и молча уходили из жизни.

Я тоже решил уйти, но мне не давали. Мне не давали мои близкие.

Я должен был доставать им еду и думать о будущем.

- Живи, - говорили они, - мы-то живем, живи и ты.

К весне все установилось. Временное правительство обещало навести порядок и покончить с инфляцией.

Я как-то нес подмышкой батон и думал о еде.

Попавшаяся мне собака тоже, очевидно, была голодна и думала о

еде. И я, разумеется, сравнил себя с собакой.

По приходе домой я взял дневник и записал нечто следующее:

"Когда к власти приходят военные, все похоже на собак, и все думают о еде, а не о памятниках. Что же касается меня, то я имею замечательное свойство сравнивать исторические события, когда за окном свистят пули. Эти пули весят девять граммов и в них много горя. Это, я думаю, говорит о многом.

Еще говорит о многом то, что ничто так не властно в нашей жизни, как время. Ему надо ставить памятники, его надо ставить на пьедестал. Мне же ничего не остается, как спокойно доживать свой век. Разумеется, это еще не говорит о том, что мне памятника не будет. Впрочем, как сказал один знакомый: "Дураки меня никогда не интересовали".

"Место дураков, - сказал он, - или в дурдоме, или на паперти".

Когда он это говорил - я весело смеялся. Когда он кончил, я в какой-то мере даже заплакал.

Боже мой, жить в стране и иметь столько несчастных!.."

На этом пока ставлю точку и выхожу на улицу. На улице пока лучше, чем дома.

Парадоксально, но факт.

* * *

Кирилл Ф И Л И П П О В

* * *

Я поэт непростой. Призван я перестройкой,
Чтоб о Родине нашей главный стих сочинить.
Как берусь за перо, точно русской тройкой
Запрягаюсь я в сани, и тоски не избыть.

Я - один из немногих. Я жажду вниманья.
Ведь я правильно мыслю и правильно сплю.
Если смирно сидите, прилежно внимая,
Так и быть, может статься, я вас люблю.

И тогда я скажу вам, как надо работать,
Так и быть, покажу вам, как надобно жить:
Не колоться, не пить и по фене не ботать,
Голых баб не иметь, и с досады - не бить.

РАССКАЗ ОДНОЙ ЗНАКОМОЙ

Я напряглась. И мы нашли пустой вагон.
Среди других не лучше и не хуже.
В окне торчал отцепленный перрон,
И на перроне каменели лужи.

Бомжовник спал. Усталое стекло
Огонь "дымка" поспешно отражало.
Тебя ко мне, естественно, влекло,
С тупой определенностью кинжала.

И только я хотела пренебречь
Зазорностью спасительного ложа,
Как ты повел рифмованную речь.
Меня на стансы потянуло тоже.

"Обжорство, лень и мягкие постели,
Изгнавши добродетель, постепенно
Пленили нас..." Ты каялся у цели,
Тушил бычок и жмурился блаженно.

- Повержен Лавр зеленый. Столп мой стройный
Обрушился, - ты мне с тоскою сообщил, -
Где тень найду, скиталец беспокойный?..
Я совершенно выбилась из сил.

- Пускай поможет горю моему
Сознание, что я тебя не стою...
Ученые, скажите, почему:
Что ни мужик, то памятник застою?

* * *

Я Сталина не очень-то люблю.
Во-первых, потому, что он мужчина.
В том первая и главная причина.
Я к женщинам, тем паче во хмелю
Питаю страсть.
Сказать: "Родной, любимый!" -
Мужчине? Нет, уж лучше в омут пасть.

Еще его за то не полюбил,
Что кушал дорогие папиросы
И вина, поощряя тем доносы,
И прыгуна в длину в себе убил,
И спринтера
В самом себе замучил.
Ползут, ползут о Сталине слова
Из принтера...
Из принципа еще
Хочу сказать, за что порой ночами
Я Сталина - об стенку головой -
За наше не-гулянье под луной,
За солнце не у нас над головами.

* * *

Шумит запретная листва,
На крышах желтая трава,
В метро несжатая ботва
Цветет и теплится,
Стоит застывший исполин,
Башкой доставший до глубин -
Ноздря в аршин.

Пудовый перст простер туда,
Откуда двести вольт, когда
Во всем нужна.
Японский бог городской
Вдруг поспешил от нас домой
И снял конвой.
В шинель одетый, как в сапог,
И шпингалетом в шлакоблок
Ушел с тоской.

* * *

В пьяном виде знакомятся все.
В пьяном виде знакомятся крабы,
В пьяном виде знакомятся жабы
В ставшей терпкой от ливня росе.
В пьяном виде и я подошел
К милой женщине – нежной, воздушной,
Зову сердца немому послушной,
Но такой же обычной, как все...

* * *

Похоже, я дошел (пора молиться)
До той черты,
Когда осталось только застрелиться.
Мешаешь ты,
Желая иногда со мною слиться.
То сон иль быль?
В итоге часто ноет поясница
И мнет ковыль.

* * *

Вина двойного подчиненья
Пьянит: всеобщий и ничей...
Грядут во имя искупленья
Дела космических врачей.
И смолкнут в срок воспоминанья.
Ничто не вечно под луной.
И станет внук, как заклинанье
Твердить: "Великий, но не мой!"

* * *

Ты меня вдохновляешь всегда
На стихи, в коих нет оптимизма -
Как бодрящая теплая клизма
Твой негромкий привет и еда.

* * *

Слушай, Сокол и Красная Пресня,
И Лубянка с Таганкою: вновь
Сердце хочется ласковый песня
И хороший, большой любовь!

* * *

Бог даст, мы не заметим изменений.
Лишь точку на прямой, ведущей в пропасть,
Очередную мысленно поставив,
В который раз таинственно вздохнем
И скажем: " Были люди в наше время!
Но каково им, бедным, приходилось!
Творить незавершенное начало
И в пустоту оттягивать конец..."

* * *

Поэт!
Не дорожи любовью народной!
Она пройдет, как сон.
А ты уснешь голодный.

* * *

Михаил НОВИКОВ

ИНЫМИ СЛОВАМИ

Он сказал:

- Я хочу в свою жизнь вбить осинового какой-нибудь кол, чтоб уж никуда из нее не выйти.

Он сказал:

- Поэзия есть форма погубления себя. Почему Есенин написал, что он охвачен золотом увядания? Что это он вдруг: только начал, а уж увядать? Очень просто: хотелось погибнуть.

Он рассказал:

- Имел когда-то друга, человека строгого и тусклого ума. И каждый раз, если видел он, что случилось мне - на вечеринке или иным путем - познакомиться с женщиной, я мог быть уверен: наутро он позвонит, спросит: "Ну, что?" И я мог быть уверен, уже с вечера: если он так смотрит, что видно, что он будет звонить, спрашивать, то мои старания и траты бесполезны. Рыба неизбежно уходила с крючка, причем бывало и так, что в самую последнюю минуту.

Он сказал:

- В каждой стране время о времени, раз в пятьсот, что ли, лет, рождается гений шекспировского типа. И вот, в одной стране такой человек посвятил себя охране царя. Он разработал, проведя за этим занятием почти всю жизнь, изумительной четкости систему охраны царя от покушений, нападений, от нелегальных влияний... Но интересно, что на царя той страны так никто за все время ни разу и не покусился. Маленький Шекспир пропал практически втуне. За границу продать систему охраны было нельзя, ввиду ее глубокой засекреченности. Единственное, что хорошо: систему многие обслуживали, кормились как-то около нее. Вот вы видели рослых человечков, которые ходят рядом с царями - всегда спиной вперед, если царь идет лицом? Это они. Они кормятся.

Он сообщил:

- Я человек пугливый. Я боюсь обоих светил. Я боюсь врачей всех мастей. Но не боюсь пустых улиц и сумасшедших. Все-таки боюсь евреев. Безумие это искусство. Что мне его бояться?

Он сказал:

- Теперь, когда мы собираемся, нам все трудней разговориться о хорошем, высоком. Все трудней заарканить дух беседы. Все реже нам его спускают. К другим, более свежим людям снисходит этот дух.

Он сказал:

- Приятно, что на пути попалось много интеллигенции. Причем, не

шаблонно скроенных тупарей, а настоящих блистальщиков. Я любил их длинноволкнистые мысли.

Вот и все, что он сказал отличного от говоримого другими. Прочее, то есть: даты, цены, слова "дай", "спасибо", "теперь направо", "я знаком с ним, он подонок", и другие, и еще все нецензурные наши сокровища он употреблял обычным образом: так приблизительно, как ребенок кубики, когда строит игрушечный дом.

Говорят, мы живем в той мере, насколько прибавили в мире новых хороших вещей. Иными словами, выше приведена вся его жизнь.

Сам же он высок, костляв, но с животиком.

(ПРОКЛЯТЫЕ) ВОПРОСЫ

Вопросы слетали к нему с неба: такие цепочки букв, как бы нанизанные на светлую нить или леску: "А откуда ты знаешь о сатанистах?"

Это оттого, что он подумал: "Вот, есть девушки, на которых все, любая, самая лучшая, четкая одежда сидит плохо. Что, они, может быть, сатанистки какие?.. У них еще обычно волосы длинные, на пробор. Я думаю, глядя на них: так как, когда едят они, весь этот хаир в пищу, в тарелку, например, с борщом, разве не лезет? Или закальвают?.."

Хаир на улетевшем уже молодежном жаргоне значил - волосы.

Упомянутые мысли крутились у него в голове и около ушей с самого утра, с того момента, как он пришел в Учреждение. "Конечно, - думал он, стараясь прогнать их, - правы старики. Разве дело в шмотках?"

Но эти слабые раздумья не могли, как он ни напрягался, перешибить ниспосланного свыше. Он сообразил, что нужно ему услышать какой-нибудь чужой вопрос, хоть простейший, о том, например, сколько времени, и ответить на него: это единственный шанс выдуть, вымыть муть из головы.

Он пошел по Учреждению в надежде, что и его о чем-то спросят. Он чувствовал, что пришла ему пора отвечать. Он хотел Малого Страшного Суда, типа промежуточного финала. Он шел и слушал разговоры. Он слышал довольно-таки дикие вещи. Какой-то замухрышка рассказывал о свойстве красивых женщин отдаваться очень быстро, при определенных обстоятельствах. Причем замухрышка говорил, как власть имеющий.

И вот, он переходил от одной группы беседующих к другой и видел себя как бы сверху, с, допустим, плафона: втирается его худенькое тельце в гущу чужих тел.

Он услышал, как спросили: "Как чувствуешь себя?" - и на всякий случай ответил тихо: "Как перед концом времен", - но спрашивали, натурально, не его, а какого-то веселого сварщика в зеленой робе. Еще круглые очки висели у сварщика под бородой.

Он понял, что провел жизнь, лавируя между столбами снежной пыли.

Он понял, что напрасно слушал только обличавшие несправедливость голоса. Он вышел на лестницу, и перила ударили его током.

Из означенного состояния было два пути. Один – тот, что отражен в стихах Бориса Поплавского:

"На острове беспутная, смешная.
Матросов жизнь. Уход морских солдат.
Напев цепей, дорога жестяная
И каторжной жары недвижный взгляд".

Или в стихах Всеволода Некрасова:

"Ах, дорогие мои современники, –
как сказала бы Анна Ахматова,
переселенная в Новогиреево".

Другой, честно говоря, не менее очевидный: путь снижений, паскудств, холостячества, но не в стиле журнала "Плейбой", а в русском, времен упадка, то есть – со слабым накопительством, с цветным телевизором, с запоями.

Стало быть, выбирай: русский дух или русский бизнес. Он воскликнул: "Ах, черт!" – махнул рукой, побежал быстро вниз по лестнице, надеясь, что чары рассеются, но чары не рассеялись.

Он выскочил на улицу. На трамвайном кругу плясали, хороводили столбы снежной пыли. Солнце было особого бледного цвета.

Описать этот цвет следует так: это цвет румянца на щеках одного редко, но регулярно встречающегося вида блядей. Они живут в общежитии, реже в квартирах, годы напролет не выходят на свежий воздух.

Вот он вспомнил о таких девушках. "В постели, – подумал он, – они ведут себя не как женщины, а как простые семьяприемники. Гадость! Гадость! На них налипают отпечатки пальцев, и слюни, и волоски прошедших через них. Волосы их кажутся всегда немного свалявшимися, с запахом тлена, даже если их вымыли и расчесали на твоих глазах..."

Образы утренних ведьм совместились у него с образами блудниц заката. Петля оказалась, наконец, захлестнутой.

Но вот спустились сверху вопросыки, как караван мух, облетели вокруг его головы, потолкавшись у раковины, влетели в ухо:

"С ней блудодействовали цари земные – это что значит?"

ЖЕНЩИНА МЕДНОЙ СТРАНЫ

Приключения кончились лет пять назад, но долго держалась их инерция, тлели руины, расхлебывалась каша. Как-то раз, вечером, стало ясно, что дни, один за другим, так и будут умирать за окнами.

На остановке под названием Зимняя Пустынь она ждала троллейбус. Наискосок, через шоссе, стояло здание грубых форм, электростанция Голубой Свет. Сперва она думала, что они пришли оттуда, со станции, но впоследствии разочаровалась в этой мысли. Они – два карлика. Сначала первый, вывернув из-за столба, подошел и заглянул снизу в ее лицо, затем второй.

Дом станции отдавался тьме, окна исчезали. Так хороший стрелок гасит мишени в электрическом тире. Карлик в короткой куртке сказал птичьим, педерастическим голосом: "У насилуемых есть цель – так сдружиться с насилующими, чтоб они тебя не убили потом, когда исполнят свое..."

У другого карлика был бас, но он не умел говорить, только хрипел. Член тенора был синий, кривой, сухой сук, победоносный. У баса оказался вяловат, сминаясь, как воздушный шарик, и она стала ему помогать, пальцами будоражить, как только прошел мешавший дышать страх. Тенор был заботлив: постелил под колени ей куртку, чтоб не на снегу стояла, не студилась.

В такси быстрых окраин отвезли ее домой.

Наутро они приехали в черной машине, долго из нее вылезали, кружили по двору. День был обычный, облака в небе шли сплошным фронтом, но каждый час появлялись разрывы. Они вошли, она увидела: не карлики, просто низкорослые.

Она улыбалась резиновой улыбкой, голову поворачивала в профиль. Закуривала, но не курила, а ломала табачные изделия в пепельнице.

Тенор спросил:

– У тебя есть кто-нибудь постоянный? Он не станет, допустим, мстить?

Она молчала. Бас захрипел, будто собирался кашлять.

Тенор сказал:

– Ты думаешь, мы за всеми так ухаживаем? Домой отвозим, навещаем утром? А мы даже фамилий не скрываем наших: Мазуров, Макаров.

Она молчала.

– Дело не в этом, – продолжал тенор. – Ты наша. Мы ведь угрожать не умеем.

Она встала, прошла в ванную, включила воду. Вода била в слив, чмокала, улетала в трубы.

Она знает, с их слов и изнутри, от себя: да, она – их.

Она живет ожиданием приказа или знака. Она томно снимает трубку черного телефона. Она осматривает свое тело: склонив голову, а также с помощью одного или двух зеркал. Она берет свои груди в руки и сводит их под кофтой тесно вместе. После душа, распаренная, голая она идет

на кухню, подолгу стоит у окна, расплывив нос и груди о холодное стекло. Она садится на немного липкий линолеум, стрижет и пилит ногти. Она замирает, уронив пилку и щипчики. Одна нога ее согнута, и колено подтянуто к подбородку. Для полного перерождения, думает она, тело нуждается в дальнейшем осквернении. Она вытягивается на линолеуме и бьет ягодицами в пол. Она думает:

"А раньше, в дни скачек по субботам и пляжей по будням, и поцелуев в прихожих, полных шуб, можно было не петь и не плакать, можно было все..."

В газете, которую ураган забивает в форточку, как кляп, она читает (с трудом): "Медная Страна".

"Медная страна, как всякая другая, имеет тело и душу. Тело Медной страны содержит в себе пельменные. Когда в пельменных нет пельменей — это кризис.

Медная страна отличается от всех прочих способом выбора правителя. Им становится тот совершеннолетний гражданин, кто на момент выборов имеет самый длинный член. Явных дебилов и садистов к баллотировке стараются не допускать.

Порядок таков: собирают загодя и регистрируют заявки. В день выборов в торжественной обстановке проходят промеры. Систему эту народ принял, полюбил.

В Медной стране много настенных электрических часов. Случаются поломки: например, секундная стрелка вдруг начинает прыгать на одном месте. Дернется вперед — и тут же отлетит к предыдущему делению, словно не может перескочить некоторый барьер. Так трепещет.

И тогда секунда длится долго-долго..."

Она комкает и отбрасывает газету. Больше читать не нужно. Она получила приказ. Она едет к Голубому Свету. Небо краснеет; идет, то есть валится с него, снег, дождь, песок. Все быстрее она едет, и все не может доехать.

Она бежит по полю, набирая репейные солнца на полы шубы. Она видит щиты, и кочки, и широко разрытые канавы: электростанция закрыта и уничтожена, адрес ее утрачен. Мазуров и Макаров уволены; она, если хочет, может видеть: вон, в длинной яме валяются их скелеты.

Она понимает, что она — сирота.

ВЬЕТНАМЦЫ

Несколько лет назад Советский Союз начал импортировать вьетнамцев. Мы увидели на улицах (в троллейбусах и вообще повсюду среди нас) этих крайне небольших, некрасивых, сильно скуластых людей. Они были

как бы воплощёнм худосочия. Русские в основном относились к вьетнамцам безо всякого сочувствия, а наоборот, брезгливо и жалостно. Газеты писали о спекуляциях и преступности, которые распространяли вокруг себя вьетnamцы. Рассказывали также - но это уж, конечно, не в газетах, а частным образом - о необычайной простоте их сексуальных нравов. Говорили, например, что если где-нибудь в общежитии живут в разных комнатах и на разных этажах три вьетnamца и одна вьетnamка, то вечером последняя обязана обойти своих соотечественников и каждого из них ублажить. И этот порядок осуществляется у них естественно, как у языческих богов или животных.

В ту пору я переходил от молодости к зрелости. Чисто физиологически это выражалось в том, что я бросил курить и потолстел. Я тогда жадничал, хотел подзаработать побольше денег, невесть зачем, и ради этого писал различные дрянные сценарии.

Один достался мне особенно тоскливый, о каком-то забубенном московском институте. Интересы заказчика представлял седой котообразный человек, должностью - профессор. Он говорил быстро, гладко, взгляд не поднимал ни на миг. Я все хотел его рассмотреть, что за глаза у него были, что он в них так прятал.

Очень, очень темные. Глаза, я подумал, убийцы (тайного, по неосторожности). Я представил себе, как он коротает вечера в профессорской квартире, и всюду там стоят нераспакованные коробки. А иначе - откуда такие глаза?

Однажды в полдень, в пути (я ехал от вышеописанного заказчика) я понял, что хочу быть вьетnamцем, то есть человеком, который не боится ни боли, ни унижений, спокойно скупает кастрюльки, одеяла. Который плюет на себя (не говоря уж о нас обо всех).

Трамвайный прицепной вагон, в котором находился я, скользил мимо мыльной фабрики. Вдруг он остановился. В вагон вошла работница в ватнике. От нее сильно, тяжело пахло мылом. Трамвай летел, тормозил, снова летел.

Несколько длинных секунд я понимал, что жизнь ясна мне.

Потом это чувство прошло.

В . К .

В пятницу он с Колесовым, Скачковым, Рукоятниковым и несколькими незнакомыми, на один раз заглянувшими в его жизнь людьми, напился довольно прилично и просадил пятьдесят рублей. Субботу удалось скоротать легко - медленно читая скучную детективную повесть; в воскресенье же проснулся он очень поздно. Его немного знобило, но не от простуды, а так, из-за мук совести. Куда было девать воскресенье, он не знал.

Наступил третий, самый тяжелый день похмелья.

И сразу он вспомнил о В.К., и стал думать, что же с ней делать? Он представил себе, что она может позвонить, и отключил телефон. Энергии у него совсем не было, и, говоря с нею, да и с кем бы то ни было, он не смог бы ни на чем настаивать, он бы на все согласился. Хотя, разумеется, это дикая чушь: на что бы он мог согласиться? Никто ему ничего и никогда не предлагал. Вот так, путаясь в "ничего" и "никогда", он сидел у окна, провожал взглядом пролетающие в сторону Можайки машины, и думал о В.К.

В.К. он знал два года и не любил ее. Он хотел порвать отношения, связь разорвать, и не мог. В.К. обладала нормальной для чуткой женщины способностью появляться, когда ему по тем или иным причинам было как-то не по себе - с похмелья ли, после какой-нибудь служебной обиды, и он впускал ее в душу. И В.К. в душе его располагалась. И он лениво начинал борьбу за собственную свободу. "Зачем я тебе нужен? - говорил он. - Но если уж нужен зачем-то, то зачем делать из меня человека, который тихо ненавидит сам себя? Заставлять произносить эти речи?" Но на меланхолию, ею вызываемую, В.К. не обращала никакого внимания.

Теперь он думал, что если бы у него была семья, он не напился бы в пятницу так сильно. Он вспомнил курицу, которую долго жарили и чуть не сожгли, а точнее сказать - слегка все же сожгли; потом долго ели, перепачкав руки, рубашки. Далее этой курицей он блевал, стоя на коленях перед унитазом. Ничего этого могло бы не быть, ни в пятницу, ни в сто или триста всяких других дней.

Вообще ему казалось, что вся неуверенность его, вся грустность его жизни происходят именно от отсутствия семьи. И никогда ничего холостой человек не сможет серьезного сделать, очевидно, ни в какой отрасли. Однако, ему было тридцать два года, и жизнь складывалась так, что те девушки, которые, как он сам, пожалуй, выразился бы, "подходили", совсем не выказывали симпатии к нему. Впрочем, до сих пор - то есть двенадцать лет уже, он сокрушался об одном упущенном шансе, об одной студентке, по имени Катя, которая влюбилась в него, и ему очень нравилась, но она в первый же день знакомства отдалась ему, и его это раздражало. Сделать ей предложение он не решился, упустил весну, упустил год, и все как бы кончилось.

Любопытно, впрочем, что жизнь его дальше шла параллельно жизни этой Кати: в три приблизительно года раз они случайно встречались, правда, все как на грех, на каких-то нечистых, продуваемых, просто привокзальных даже, стогах. Она побывала замужем дважды, и дети были от обоих браков, и жизнь ее была, очевидно, неровной, но полноценной. Квартира у нее была в центре, и в третью встречу она несла какой-то приятный, очевидно, ей вздор о новой машине; она лучше выглядела, чем раньше - так ему показалось, она не портилась - он заключил.

Но какого черта вспоминать то, чего не существует? И, честно-то, не существовало. Ему бог послал В.К. и скучные муки не-любви. Он решил, что это наказание, или, что ли, знак какой-то его непригодности к жизни.

К вечеру ему стало казаться, что ватная тоска наполнила его комнату. Он начинал ненавидеть предметы и части их: стулья, ножки кресел, дверные ручки, широкую вазу и рулончик лейкопластыря на дне ее.

Задвинув, откинув и снова задвинув шторы, он зажег лампу и вытащил из ящика стола большой конверт с фотографиями.

И вот, он смотрел на снимки, изображавшие В.К. Здесь она сидит, прикрывая обнаженную грудь согнутой рукой. Здесь – стоит у окна. Вот снимок, где получились красивые бедра и совсем не вышло лицо. Он понял, что надеялся на эти снимки напрасно: они ничего не проясняли, ничего не могли подсказать.

Даже в мелочах жизнь была неуправляемой. Он сидел, положив голову на стол, на прилипавшие к щекам и ко лбу снимки, хотел что-то думать, почувствовать, и не мог.

Он был по-настоящему бессилён, но даже Тот, Кто управляет всем, не мог ему помочь, поскольку он, всю жизнь отвлекаемый своими желаниями, а также похмельями, фотографированием, покупками, поездками, чтением, черчением и неведь чем, не удосужился поверить в Того, Кто управляет всем.

Он чувствовал себя торчащим посреди жизни, как бетонный столб в поле, причем пытающийся пустить корни, зазеленеть. Приблизительно так же, полагал он, располагались в мире Колесов, Скачков, Рукоятников. И непонятно было, чего же стоила их дружба, да и можно ли то, что происходило, всю эту россыпь мелких, округлых, как камушки на пляже, необязательных событий, называть таким тяжелым, серьезным, платиновым словом.

ДЕФЕКТ ЛОМА

Ломизе́, человек непонятной национальности, был необычайно чувствителен к запахам. Поэтому он завел у себя стерильную чистоту, пищу хранил в герметической упаковке и каждый день надевал новое белье. Это ввергало его в значительный расход, но иначе он не мог.

Был он неглуп. Других замечательных качеств за ним не водилось.

Друзей и женщин у Ломизе было мало – из-за его свержчуткого обоняния.

– Я все время как беременный, – говаривал он.

С годами у него развилось нечто вроде мизантропии. Неделями он безвыходно пребывал в своей облицованной кафелем комнате, расхаживая

босиком по ледяще-холодному полу или лежа на клеенчатой кушетке. К запаху клеенки он привык и не раздражался. Когда ему нужно было выйти из дому, например, за продуктами, он вворачивал в ноздри кусочки ваты и шел, дыша ртом.

Однажды к Ломизе пришел его школьный товарищ, ставший профессором медицины, человек чистоплотный и положительный.

- Слушай, Лом (так Ломизе звали в школе), - предложил старый товарищ, - давай выпьем и поговорим с тобой серьезно.

Ломизе пил раза два-три в жизни, но тут неожиданно согласился.

- Давай, - сказал он, вворачивая в нос вату.

Профессор достал из портфеля бутылку водки, откупорил ее и налил в большие рюмки. Ломизе принес себе еще талой воды из холодильного шкафа.

- Ну, за твоё здоровье, - сказал профессор и выпил.

Превозмогая себя, Ломизе проглотил водку и обильно запил ее холодной водой.

- Старина, - сказал профессор, - у тебя гипертрофированное чутье. Из-за этого ты живешь как какой-то бирюк. Вот что я тебе предлагаю: ложись к нам в клинику, мы сделаем тебе операцию, и будет у тебя нормальное обоняние. Будешь радоваться жизни.

Профессор налил еще водки.

- Знаешь, - сказал Ломизе, - это заманчиво, конечно, но...

- Подожди, - перебил его профессор, - выпьем-ка.

Они выпили.

- Ты торчишь тут, - воскликнул профессор, - и тяготишься своей жизнью!

- Таков мой крест, - сказал Ломизе.

- Какой, к черту, крест! Мог бы пользу приносить, наслаждаться и так далее, а ты... - профессор разлил остатки водки и потянулся к портфелю за следующей бутылкой.

Они выпили снова. Ломизе охмелел и стал крикливо доказывать профессору, что ему и так неплохо. Профессор бурно возражал и наливал водку. Вдруг Ломизе почувствовал, как спазм сжал его желудок и пищевод. Он согнулся в пояснице, хотел встать, но покачнулся и упал на четвереньки.

Его рвало. Из ноздрей вылетели клочья ваты.

Глядя на мучения Ломизе, профессор пошарил в карманах, нашел папиросы и закурил. Через некоторое время Ломизе поднялся, цепляясь за край стола и уселся на стул.

- Что?! Ты что, - спросил он, с трудом ворочая языком, - куришь, что ли?!

- Курю, - ответил профессор, выпуская в лицо Ломизе струю дыма.

- А я... А я - ничего... Как это?!

- Подожди... Пстой, - профессор с изумлением смотрел на Ломизе, - как же твой нюх?

- А ничего! - закричал Ломизе. - Ничего! Не надо операций! Не надо!

- Смотри-ка, все прошло. Надо же!

- Все! - орал Ломизе. - Свобода! К черту кафель! К черту кушетку! Будем жить!

Ломизе схватил со стола пустую бутылку и запустил ее в стену.

- Друг! - закричал он. - Давай гулять! Сегодня праздник! Давай позовем женщин! Пусть они будут вонючими! Все равно! Свобода!

Ломизе вскочил со стула, но поскользнулся и рухнул на пол.

Никто, конечно, к ним не приехал.

Наутро, когда Ломизе проснулся, профессора в комнате не было. Ломизе лежал на полу. Он повернул голову и в нос ему ударил резкий, отвратительно-кислый запах.

Ломизе потерял сознание.

МНОЖЕСТВО ИСКУШЕНИЙ

Они сидели у окна, и занавеска, отделявшая их от большого уличного пространства, колебалась. Она даже время от времени всасывалась в комнату и реяла над столом, но на чашки, на графин с квасом улечься не осмеливалась, предпочитала снова высунуться в проем рамы, попробовать того воздуха.

- И что? Это сейчас... - говорил гость, плотный человек в мягкой теннисной рубашечке, с толстыми приятными усами. - Это сейчас, летом, когда все женщины красивы, вообще полуобнажены, она, конечно, представляется тебе... А ты бы глядел зимой-то, зимой! Во времена белых кож, двойных штанов, всяких хронических бронхитов. Ведь у нее же эти штуки к вискам...

- Какие штуки? Что ты? - перебил хозяин.

- Ну, штучки, складки эти, стрелки. Морщится когда она и смеется - видно.

- Ну так что же? Это у всех.

- Но не должно этого быть. Не должно. Ты паспорт ее смотрел?

- Нет... вроде бы. Зачем бы мне?

- Как можно! Ты даже не знаешь, так ли ее зовут, как она объявила. Столько ли ей лет. Такова ли ее прописка...

- Я доверяю, - сказал хозяин, уже начиная немного грустить.

- Да! - закричал гость. - Ты доверишь. Но она не доверяет тебе, раз не показала паспорт! И не спросила твой? Сознайся? Ведь нет?

- Нет.

- Ты безалаберен. Она безалаберна. Нет! Нет! Прошу, порви с нею. Ради блага вас двоих, ради твоего и ее будущего счастья!

И с этими словами гость взял чашку, налил в нее квасу, поднес ко рту, и уж совсем было глотнул, как вдруг взял и брызнул на хозяина – на манер, знаете, тот, каким смачивают белье во время глаженья. То есть гость окутал голову и плечи хозяина квасным облаком.

Тут штора, заметив происходящее, бросилась в комнату и накрыла, наконец, собеседников.

* * *

Лев Т А Р А Н

ИЗ РОМАНА АЛЕКСАНДРА ЛЕЩЁВА (А.С.ЛЕЩЁВА)

"КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ПОПОЛУДНИ..."

Памяти Я.Л.Т-а.

(Эпиграф)

и все-таки жизнь прекрасна!
и все-таки стоит жить!
хотя бы слепому, глухому. безрукому или безногому.
уродливому, горбатому. беспомощному в параличе.
прикованному к больничной койке.

и все-таки жизнь прекрасна!
и все-таки стоит жить!
пускай в сумасшедшем доме. пускай в одиночной камере.
пускай в заваленной шахте. на льдине, уплывшей в море.
или в безлюдной тайге.

и все-таки жизнь прекрасна!
и все-таки стоит жить!
даже опухнув от голода. даже корчась от жажды.
даже в снегах замерзая, лоя бесчувственным ртом
морозный сгущенный воздух.

и все-таки жизнь прекрасна!
и все-таки стоит жить!
когда уже не во что верить. когда тоска безысходна.
отвергнутому, одинокому. затравленному, как зверю.
осмеянному толпой.

и все-таки стоит жить!
и все-таки жизнь прекрасна!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

С Т О Л

стол как стол: о четырех ножках.
круглый, выцветший, облупленный.
с редкими чешуйками лака на ободке.

на столе гора всякой всячины.
раскрытые журналы – вверх и вниз корешками.
на них вперемежку:
консервные банки с окурками в оскаленной пасти.
немые тарелки с золотушными коростами жира.
хлебные корки с отпечатками зубов на ссохшихся тонких дужках.
ржавые рыбы скелеты. черные головы – отдельно.
скомканные магазинные кульки с масляными пятнами.
пустые сигаретные пачки с рыжими крошками табака на отворотах.
спичечные коробки, поседевшие от пепла.
и надо всем этим
грозно возвышается желтый коровий мосол –
с мумифицированными огрызками мяса и сухожилий.

только узенький краешек стола остается свободным.
ладонью сметены с него – пепел, окурки, обгоревшие спички.
и на этом свободном участке – початая бутылка водки.
два граненых стакана, потемневших от времени и крепкого чая.
потрескавшаяся пивная кружка с холодной водой.

за столом двое. в трусах и майках.
курят, сыпят пепел в свежую консервную банку. спорят.

- сущность поэзии не в том,
 чтобы тщательно, добросовестно, дотошно,
 короче говоря, натуралистически,
 описать – ну, хотя бы вот этот стол! –
 утверждает один.
- и в том! – возражает ему другой.

ПРОРОК (поэма)

он все понимал в этом мире, все знал, все предвидел...
выйдя утром на улицу – за хлебом и сигаретами –
он старался ни на кого не глядеть.
он не хотел видеть:

ни этого пьяницу – с одутловатым мятым лицом.
шатавшегося. цеплявшегося за планки палисадника.

ни эту дородную женщину – с огромной хозяйственной сумкой.
глядя на пьяницу, женщина укоризненно покачивала головой.

ни эту девицу – пухлую, сдобную, розовощековую. которая
шла рука об руку с солдатом, дробно и радостно похохатывая.

ни самого солдата, рассеянно размышлявшего, глядя на девицу:
как бы покультурнее пригласить ее в лес на прогулку.

ни этого чиновника – самодовольного, напыщенного, надутого.
уверенным движением захлопнувшего дверцу персональной машины.

ни этих мальчишек, нашедших на свалке два железных прута.
сражавшихся, как заправские мушкетеры.

ни этого бедного сочинителя, бежавшего по улице. нараспашку.
только что закончившего – свою самую гениальную вещь.

* * *

он все понимал в этом мире, все знал, все предвидел...

и потому – шел по улице, низко опустив голову.

но и беглого взгляда было достаточно, чтобы понять:

не пройдет и часа,

как замертво осядет на землю – бледнолицый пьяница.

не пройдет и дня,

как женщине, хлопочущей по дому, принесут страшную весть –
ее муж попал в автомобильную катастрофу.

его вытащили из кабины с перебитыми бедренными костями.

и ноги болтались на собственных мышцах, как на резинках.

он не умрет, он останется жить, но к трем маленьким ртам
добавится – четвертый... большой...

не пройдет и месяца,

как девица, презрительно глянувшая мимоходом,

в отчаянии упадет лицом в сомкнутые ладони.

задохнувшись от чудовищного обмана, чудовищной несправедливости,
чудовищного знания, неожиданно открывшегося ей.

не пройдет и полгода,

как солдат, уже демобилизовавшийся, закачается

в сарае – на бельевой веревке – после случайной неудачи.

и в ушах, пока не угаснет сознание, будет звучать: "слабак!
слабак! спрячь свой обмылок!"

не пройдет и года,
как чиновник, с шиком вышедший из машины, почувствует
легкое недомогание, боль под ложечкой, тошноту после еды.
он обратится к врачу, тот пошлет его к другому, к третьему.
третий – к четвертому, пятый – к шестому, восьмой – к девятому.
к десятому – войдет уже иной человек, сгорбленный и сломленный,
с землистым лицом, запавшими глазами, заострившимся носом.
он еще будет по инерции подписывать важные бумаги.
он еще будет по привычке садиться в президиумы.
он еще будет по долгу службы выступать с докладами.
но мысли его будут витать далеко-далеко.

не пройдет и трех лет,
как мальчишки-мушкетеры на спор поплывут через реку.
вначале будут смеяться, плескаться, кувыркаться в воде.
а на середине – один из них обессилет.
– я не могу, – крикнет, – я не могу больше!
а другой рванется, что есть мочи, в сторону,
поплывет, не оглядываясь, весь в брызгах, в пене.
не видящий ничего, кроме берега.
не слышащий ничего, кроме собственного дыхания.
не чувствующий ничего, кроме нарастающей боли в мышцах.

но самый несчастный из всех – сочинитель.
ему еще жить – тридцать лет и три года.
измучить детей, загнать в гроб жену.
жить в вечной нужде, в вечных долгах.
жить в вечном ожидании – признанья и славы.
страдая от двусмысленных ответов из редакций.
после смерти – все бумаги – внук-школьник отнесет в утиль.
на радость родителям – избавились от хлама.
на радость самому себе – собрал больше всех макулатуры.
на радость одноклассникам – заняли первое место в школе.

* * *

он все понимал, все знал, все предвидел...
возвратясь домой, валился на диванный матрац.
и лежал весь день, почти не вставая.
утром и в обед – пил крепкий чай с хлебом.
а вечером и на ночь – напиток под названием "белая сирень".
проще говоря, пустой кипяток.

в эти долгие часы – он курил одну сигарету за другой.
перебирая в памяти столкнувшиеся с ним судьбы.
переполненный состраданием и мучительными раздумьями.
оттого, что не в силах – ни помочь, ни предупредить.
ведь ему не поверят. его даже слушать не станут.

* * *

он все понимал в этом мире, все знал, все предвидел...
поэтому – брился не чаще, чем раз в полмесяца.
стригся не чаще, чем раз в полгода.
мылся в душе – при крайней нужде:
когда зуд одолевал и ничто не помогало –
ни курево, ни чай, ни сон.

никакой мебели в комнате у него не было,
кроме сломанного диванного матраса, найденного на помойке.
матрас стоял у стены, ничем не покрытый, протертый и засаленный.
вместо подушки – продавленный боковой валик.
окна заклеены старыми пожелтевшими газетами – сверху донизу.
пустой шнур завязан у потолка узлом – обходился без электро.
обувь, одежда разбросаны по полу.
там же – мятые газеты, пустые банки, бутылки, окурки,
множество опустошенных сигаретных пачек и спичечных коробков.
в одном из углов – посуда: закопченный чайник, кастрюля и чашка.
их оставила ему жена – после размена квартиры.

* * *

он все понимал в этом мире, все знал, все предвидел...

ВОТ ОН ЛЕЖИТ ПЕРЕД ВАМИ...

(поэма)

вот он лежит перед вами на заплыванном пыльном асфальте.
среди окурков. газетных обрывков, ореховой шелухи.
одна рука выброшена вперед, как у оратора.
другая неестественно заломлена за спину.
ноги полусогнуты. голова полуоткинута. рот полуоткрыт.
по подбородку течет прозрачная тягучая слюна.
и падает в пыль, и свертывается в серые комочки.
прореха расстегнута. брюки вокруг нее измазаны грязью.
поперек тротуара тянется узкая влажная дорожка.
маленькая лужица в конце ее.

вот он лежит перед вами на заплеванном пыльном асфальте...
весь в пыли. в грязи, с окурком – прилипшим к щеке.
неподвижный. безгласный, с бледным, как у трупа, лицом.
и вдруг –

судорога прошла по телу.

глаза приоткрылись. он приподнялся на вытянутых руках.
и громко, отрывисто вскрикнул.
и толчками изо рта полилась мутно-розовая жидкость.
собираясь в длинные тягучие капли по углам рта.
потом глаза его снова закрылись. он легко и свободно вздохнул.
и рухнул грудью, и рухнул лицом в жижу –
в капустные ошметки, в осклизлые комочки непрожеванного хлеба...

вот он лежит перед вами на заплеванном пыльном асфальте...
в собственной моче, в собственном дерьме и блевотине.
в собственном соку! – как метко заметил кто-то из вас.
вокруг него легкое облачко самых непотребных запахов:
меркаптана, сероводорода, индола, скатола, аммиака,
разложившейся тухлой кислоты, перегоревшего алкоголя.
вы брезгливо морщите лицо, вы брезгливо отворачиваетесь.
брезгливо перешагиваете – через влажную дорожку, через лужицу.
вы полны благородного негодования и отвращения.
вам некогда – вы торопитесь... куда вы торопитесь?

1

вот он лежит перед вами на заплеванном пыльном асфальте...
перед вами, молодой человек, перед вами, именно перед вами!
ах, как вы благопристойно, как вы благородно выглядите!
модный костюм. модный галстук. модная бородка с баками.
аккуратные стрелки на брюках. начищенные до блеска ботинки.
шикарный сверкающий "дипломат" в руке.
вам некогда – вы торопитесь... куда вы торопитесь?
да-да, институт. да-да, ученый совет. вы его секретарь.
еще час до начала. но надо придти пораньше. подготовиться.
встретиться с кем надо. с кем надо – все заранее обговорить.
будет трудный день, будет схватка. будет потасовка.
необходимо провести нужного человека на вакантное место.
это вам поручено. об этом вас просили в высших сферах.
просили, так как только вашими руками можно это сделать.
с вашим опытом. с вашим умом. с вашей интуицией.
именно к вам обратились. лично к вам. без посредников.
весьма конфиденциально обратились. верят: не подведете!

неделю назад (хотя, конечно, вспоминать противно!) один из бывших однокашников (до сих пор младший научный) пригласил отметить апробацию (вас все приглашают - приелось!) однако вы любезно согласились. зашли в занюханную шашлычную. и тот попытался завязать деловой разговор. но вы его тут же оборвали. произнесли коронную фразу: "знаешь, вечерами я говорю только о х... и о пряниках!" и тогда он безобразно налопался...

(ну, почти как этот, на асфальте!) начал скандалить. вцепился в пиджак. слава Богу, не облевал! "ты же мальчик, - кричал. - ты же мальчик на побегушках! ты же вечный мальчик! ты так и останешься мальчиком - кем бы тебя не назначили, какую бы зарплату не получал..."

кое-как удалось успокоить. избежать скандала. посадить в такси. довести до дома на свои деньги. и втолкнуть в подъезд. утром он был - тише воды, ниже травы...

("по-кор-ней-ший слу-га!")

"ничего-ничего, - думаете вы, - побегаю, пока молод!" правда вы не так уж и молоды, если приглядеться внимательней: сухое лицо. высокие зальсины. дряблая сеточка под глазами. "ничего-ничего, - думаете вы, - побегаю, пока не оперился. пока не накопил достаточно сил. не пустил крепких корней. а тогда сам заведу себе мальчиков. дикую свору мальчиков! тебя же, недоносок, возьму к себе в мальчики! в мальчики! тогда-то покажу я вам всем, кем являюсь на самом деле! все почувствуете!"

2

вот он лежит перед вами на заплеванном пыльном асфальте... перед вами, милая женщина, перед вами, именно перед вами! ах, как вы симпатичны! как вы элегантны! как вам идет это платье со смелым вырезом! как соблазнителен глубоко-открытый желобок между грудями! как обольстительна выпуклая, обтянутая, как абажур... как обворожительны изящные длинные ноги! вам некогда - вы торопитесь... куда вы торопитесь?

да-да, старый Арбат. Да-да, Сивцев Вражек. да-да, опять к оболтусу! к нему, к нему! ваш муж (полковник) уехал в командировку - какое счастье! - вы сможете, ничего не опасаясь, побыть до позднего вечера. а если захочется, то и остаться на ночь с оболтусом.

в руках у вас авоська, туго набитая всякими вкусенькими вещами.
у оболтуса, как обычно, нет ни жратвы, ни выпивки, ни денег.
надо его накормить как следует. взбодрить коньячком.

а после затеять уборку в комнате. потому что - неэстетично.
дать ему веник в руки, заставить подметать,

а самой - заняться посудой.

он будет вертеться вокруг, цапать, лапать, лезть губами.

и нужно цыкать на него, отгонять,

все менее, и менее, и менее властно.

и сдаться, наконец, и допустить. и обмякнуть...

почти в бесчувствии рухнуть вместе с ним в несвежие простыни.

почти в бесчувствии, закрыв глаза, позволить раздеть себя.

почти в бесчувствии ждать, пока он сам скинет одежду.

почти в бесчувствии...

остаток сознания вам еще нужен, чтоб самой, дрожащими пальцами..

и задохнуться. и закричать от неожиданности.

и раствориться, растаять. превратиться в сплошное чувство.

в сплошное исступленье. в судороги, конвульсии, мотания головой.

в стоны и всхлипания. бессвязные крики. прерывистое дыхание...

в общем, во все то, о чем вы сами почти ничего не знаете.

а после лежать с ним рядом - в полном изнеможении.

часто и громко дыша. медленно приходя в себя.

а после - оболтус опять заведет свою шарманку:

"что нам мешает - сойтись с тобою?"

"а кто тебя будет кормить? - оскорбленно крикнете вы. -

а кто тебя будет поить коньяком? где у тебя, дурака, гроши?"

разве поймет он хоть что-нибудь, оболтус, неудачник, разиня?

разве поймет, как вам одиноко и горько в собственном доме?

как вам противно ложиться в собственную постель,

каждый раз ожидая...

внезапно просыпаться под утро от шепота: "милая... милая..."

чувствовать, как лапами лезет под рубашку...

(противиться не надо, поскольку может ничего не получиться -

и он разволнуется, расклеится, расстроенный уйдет на службу.

хочешь - не хочешь, нельзя препятствовать!)

лежать - держа на себе липкую тяжесть потного тела.

слышать сопение, кряхтение, горячечные слова -

всегда одни и те же.

и самое противное: ощущать, как он там елозит внутри.

считать, чтобы отвлечься, хоть чуточку, каждое его движение.

стиснув зубы, ждать, когда он захрипит, задергается.

считать количество спазмов, толчков внутри...
 наконец, он затихнет. отвалится в сторону - мокрый и скользкий.
 и вот - бежать торопливо в ванную.
 вымывать, выскребать - со злостью, с остервенением -
 всю эту грязь: клейкую, вонючую, бесконечную.
 с мокрыми бедрами - возвращаться в комнату, в постель...
 (он уже заснет - протяжно и влажно похрапывает.)
 лежать с открытыми глазами, ненавидя его и жалея:
 "что с ним станется? куда он денется? если уйти от него!"
 утром он будет чересчур ласковым, предупредительным,
 обходительным.
 - милая, у тебя ничего не было! - подобострастно заглянет
 в глаза.
 - ладно, ладно, - отвечать, отводя глаза. - у тебя зато было!..

3

вот он лежит перед вами на заплыванном пыльном асфальте -
 в собственном дерьме, в собственной моче, в собственной
 блевотине...
 перед вами лежит, молодая чета, перед вами, именно перед вами!
 как вы обаятельны оба! как подходите друг другу!
 как похожи - в манерах, жестах, мимике, интонациях.
 опыт совместной жизни
 уже отложил на вас обоих - загадочный свой отпечаток.
 вы любите друг друга. доверяете друг другу.
 вам сейчас некогда - вы торопитесь... куда вы торопитесь?
 да-да, Калининский... да-да, к Марии Никаноровне, буфетчице.
 она оставила - икорочки, рыбки, сервелату и прочих деликатесов.
 у вас соберется сегодня компания. хорошая компания! нужная
 компания!
 будут оригинальные тосты. будут высокоинтеллектуальные разговоры:
 о свободе личности, о новых веяниях, о новых модах и книгах.
 будет гитара. будет магнитофон с экстрамодерновой музыкой.
 поэтому надо подготовиться:
 экспортная водочка, кальвадос, сухой martini...
 о, как будет приятно: поймать быстрый завистливый взгляд
 на простор и высокие потолки вашей спецкооперативной квартиры -
 с великолепно отделанной ванной и туалетом, с огромной кухней!
 о, как будет приятно: поймать быстрый завистливый взгляд
 на финский гарнитур самой последней модели,
 нежно гармонирующий с разноцветным паркетом и расписными стенами!

о, как будет приятно: поймать быстрый плотоядный взгляд на великолепно сервированный стол с многочисленными яствами!
о, как будет приятно! о, как будет приятно!

после обильной еды и обильных высокоинтеллектуальных разговоров начнется самое важное, начнется самое главное -

деловая часть вечера!

супруга сплотит вокруг себя женскую половину общества.
займет ее сугубо-женским разговором. с показом разных дефицитов.
с дарением каждой гостье какой-нибудь оригинальной безделушки.
громкие возгласы благодарности будут сопровождать беседу.
а мужская половина незамедлительно примется за обсуждение дел.
вначале - незначительных. а потом - все более и более
значительных.

речь пойдет о кознях, об интригах неприглашенных недругов.
о том, как предупредить их козни, нейтрализовать интриги.
и, наконец, разговор приблизится к самому животрепещущему:
к вопросу "об освободившейся вакансии" - заведующего отделом.

- это, - вздохнет начальник, - очень серьезный вопрос,
очень серьезный!

впрочем, подходящая кандидатура у нас уже есть, давно намечена, -
и обратится к хозяину дома, -

я имею в виду, несомненно, вас!

тут надо скромно потупиться, ляпнуть что-нибудь невразумительное.
или понести сущую околесицу...

(именно околЕсицу!

а не околЕсицу, как утверждают ученые мужья. во главе с ОжЕговым.)

- ничего-ничего, - успокоит начальник, - справитесь-справитесь!

не беспокойтесь, я уже провентилировал данный вопрос, где следует.

не беспокойтесь, все будет в ажуре, все будет - о'кей!

и начальник увлечет мужчин к столу, почувствовав себя хозяином.

сам разольет вино:

- я хочу выпить за нашего нового заведующего отделом!

надеюсь, тут - единомышленники. поэтому говорю без дураков!

и все будут подобострастно чокаться с начальником.

и все будут подобострастно чокаться с новоиспеченным заведующим.

потом еще разольют по рюмкам, потом еще и еще...

пока начальник не почувствует легкого головокружения.

тогда он подымет руки, будто сдается в плен, начнет прощаться:

- к сожалению, вынужден вас покинуть. желаю хорошо повеселиться!

а при выходе напомним гостеприимному хозяину:

- так завтра я жду к себе, поговорим детальнее...

спускаясь по лестнице, супруга, ехидно улыбаясь, спросит:
 - ну? и какое впечатление произвело на тебя все это?
 - ничего, - ответит супруг-начальник, - было вполне прилично.
 - конечно, ничего, - возразит супруга, - небось кусок потратили!
 стол был, конечно, пышный, конечно, богатый. но - без выдумки!
 у Михеевых было гораздо беднее. но зато - какая культура!
 какой шик!

а здесь - типично мещанская атмосфера, типично мещанская
 обстановка!

мебели много, дорогой мебели... но какая безвкусица!
 полная безвкусица во всем! обывательщина! плебейская роскошь!
 бездуховность!

она - разряженная дура! неинтеллигентная! невоспитанная!
 да и он!

неужели ты пригреешь бескультурного выскочку?

- не я - не я, голубка моя! - рассердился супруг-начальник. -
 не я! если бы знала, в каких верхах за него хлопочут, просят?
 неужто сама не поняла, откуда вся эта роскошь? за какие заслуги?
 а, впрочем, если говорить начистоту, он не так уж и плох:
 вежливый, выдержанный, тактичный, ориентирующийся великолепно.
 к тому же способный! очень способный! даже талантливый!
 он далеко пойдет - при таких связях, при таких возможностях!
 лет через пять уже я окажусь у него в подчиненных, поверь мне!
 так что вся эта канитель - не что иное, как долгосрочный аванс.

после ухода начальника - буквально задымится в квартире.

после ухода начальника все распоясаются окончательно.

начнутся танцы, искрометные пляски, фривольные разговоры и
 анекдоты.

вино польется рекой. некоторые наклюкаются до обалдения.

начнутся хождения в туалет, так сказать, для бдения.

но все будет по-прежнему в рамках приличия - без глупостей и
 маразма.

часам к двенадцати удастся разогнать гостей по домам.

часам к двенадцати удастся, наконец, спокойно поговорить.

- ну, как будто бы "леге артис"! - утомленно скажет супруг.

- ссмотри-ка, - продолжит супруга, - икорку-то слопали и рыбку
 тоже!

губа не дура!

а вот кальвадос не допили, сволочи! подавай им "Камю"!

правда, я две бутылочки заначила - для Олега Васильевича.

в общем, было вполне прилично - даю руку на отсечение!

только одно меня огорчило - эта стерва, эта дура-начальничиха!

ведь кобыла – кобылой! ни рожи – ни кожи! а какое самомнение!
а какой апломб! а какое высокомерие! какой безапелляционный тон!
ты же знаешь: я ей подарила "Коти"!

другим безделушки, а ей – дорогие духи, подлой твари, мещанке!
было неудобно, конечно, но все, слава Богу, вели себя

интеллигентно.

так она стала намыливаться на мое ожерелье. помнишь:

то – дымчатое.

начала расхваливать его, восхищаться, явно намекая...

да я бы отдала, не задумываясь! отдала бы, не жалея!

оно не такое уж и дорогое. и мне давно разонравилось.

да разве в цене дело? неудобно перед остальными, неинтеллигентно!
да и обидно!

4

вот он лежит перед вами на заплыванном пыльном асфальте...

перед вами, инженер человеческих душ, перед вами, именно перед
вами!

на вас потертая кожаная куртка нараспашку, как у настоящего поэта.

лицо исхлестано ветрами, взгляд тверд, как у настоящего поэта.

в кулаке – вишневого дерева трубка, как у настоящего поэта.

дома у вас еще 12 трубок, они сейчас отдыхают.

каждый день вы пользуете лишь одну трубку, как истый трубошник.

в вашем портфеле 150 экземпляров только что вышедшей книжки.

первой книжки, но уже достаточно профессиональной и зрелой.

в книжке – тоска по деревне, по древней Руси, по чистому полю.

книжка – вся! – отрицание городской суеты сует, вечной спешки

и толчеи.

вся! – горячая проповедь высокой любви, гимн труду, трудовому

люду.

вам некогда – вы торопитесь... куда вы торопитесь?

да-да, на улицу Герцена. да-да, в Цэ-Дэ-эл.

в этот вертеп, в этот змеепитомник, как вы сами его называете.

(там пьяницы с глазами кроликов "ин вино веритас" кричат.)

ничего не поделаешь, надо идти (такова "се ля ви"), так надо!

чтобы книжку прочли, надо ее распространить.

(и удобней всего – в клубе!)

здесь же всего удобнее – организовать рецензии, без этого нельзя!

наконец, организовать общественное мнение, что – ой, как важно!

и еще – самое главное: сегодня решился вопрос с журналом.

теперь в ваших руках печатный орган, иначе говоря, кормило.

надо сколачивать свой круг, свой актив, свою шайку: иначе съедят. безусловно, теперь осложнятся отношения с друзьями:

подобострашие, смешанное с завистью,
ирония, смешанная с ненавистью -
проявятся с неизбежностью, надо готовиться!

вчерашие однокашники, вчерашие собутельники
превратятся в завистливых мстителей, двурушников, сплетников.
все это надо хоть как-то предупредить.

по возможности - самортизировать.
на все это уйдет, в общей сложности, рублей триста-четырееста.
но это необходимо, ничего не поделаешь, необходимо.
для, так сказать, расширенного воспроизводства...

* * *

вот он лежит перед вами на заплыванном пыльном асфальте -
в собственном дерьме, в собственной моче, в собственной блевотине,
"в собственном соку", - как метко заметил кто-то из вас.

ЕГО НАШЛИ РАНО УТРОМ В СКВЕРЕ...

(поэма)

его нашли рано утром в сквере...
он лежал на правом боку, скрючившись.
рядом - разостланный, вмятый в траву пиджак.
брюки приспущены до колен. рубаха задрана до пупа.
как написал потом судебный эксперт:
"половой член в напряженном состоянии... цианотичен..."
голые ягодцы, в белых и синюшных пятнах, покрылись росой.
в это яркое солнечное утро роса изумрудно сверкала в траве.
и на коже его - тоже сверкала.

местами - серебряным блеском.

местами - цветом морской волны.

невдалеке нашли скомканные женские трусы, измазанные спермой.
как установил судебный эксперт: "идентичной сперме покойного".

все смеялись над его смертью.
смеялись милиционеры и следователи, прибывшие "поднимать" труп.
смеялись, откуда ни возьмись, набежавшие зеваки.
смеялись фотографы, щелкавшие аппаратами.
смеялись фельдшера, приехавшие за трупом в санитарной машине.
еще бы - не смеяться?

покойному было лет под шестьдесят.
(как потом установили: шестьдесят шесть.)
седые волосы. дряблая шея. морщинистые руки.
но лицо моложавое, костистое. носатое, как у генерала де Голля.
- умер на боевом посту! - весело крикнул кто-то из толпы.
- вот что значит: любовь до гроба! - откликнулся другой.
смеялись и санитарки в морге, обрабатывая тело.
- а куда девать колотушку? - веселились они.
недолго думая, привязали бинтом к бедру...

но не до смеха было родным. буквально, со стыда сгорали:
молоденькие внуки и внучки, и уже постаревшие дочери.
похоронили его по-тихому: без поминок, прямо из морга.
выбросили из семейного альбома фотографии.
и ничего не рассказывали о нем - детям и внучатам.
через десяток лет - все прочно позабыли:
об этом выкресте, об этом алкоголике, об этом старом ловеласе...

* * *

и лишь одно существо на свете - всю жизнь горевало о нем.

она, в то время девятнадцатилетняя девушка.
чуть ли не первая прибежала утром.
проследила всю процедуру "поднятия" трупа.
для маскировки - посмеивалась вместе с другими.
пришла и в больницу,
издалека наблюдала, как выносили гроб из морга.
в крематорий не поехала. побоялась, что заприметят.

вскоре она (через знакомого в прокуратуре) узнала,
что дело производством прекращено:
за отсутствием состава преступления.
судебно-медицинская экспертиза твердо установила:
"у покойного развился обширный инфаркт миокарда..."
"признаков насильственной смерти не выявлено..."
поэтому "виновницу" не стали разыскивать, а дело сдали в архив.

* * *

сейчас - это всеми уважаемая женщина.
передовая станочница. член парткома. депутат райсовета.
к тому же - образцовая жена и мать.

вышла замуж она - через год после случившегося.

правда, не по любви – жених был очень настойчив.
но вскоре привыкла к мужу, никогда ему не изменяла.
троих детей родила: двух мальчиков и девочку.
отлично их воспитала и вывела в люди.

на заводе у нее непререкаемый авторитет, даже директор
побаивается.

- не баба, а кремень! – говорят мужики.
а женщины, если и не любят, то обожают – все до одной.
приходят советоваться – порой по самым интимным вопросам.
всегда внимательно выслушает. никогда не осудит.
в любом случае подскажет, что и как сделать.
и главное – не продаст. никому лишнего слова не скажет.

- Филипповна во всем разбирается! – говорят про нее. –
точно подскажет: стоит ли уходить от мужа к другому,
или продолжать встречаться с любовником, не разрушая семьи.
точно подскажет: как научиться получать удовольствие от мужика,
если до этого не получала...
точно подскажет: что подсыпать в вино, дабы отвести от пьянства.
а уж о том, как устроить ребенка в детсад или в ясли,
как получить квартиру, чтобы начальство не обмануло –
и речи нет! словно орехи расщелкивает!

- везучая Филипповна! – завидуют одни. – и все у нее ладно
выходит!
и муж – непьющий, уважительный. самостоятельный!
и дети – ласковые, воспитанные, башковитые!
и любая работа спорится... счастливая!
- мне бы такие крепкие нервы, как у Филипповны! – вздыхают другие.
- идеальный человек – Филипповна! – утверждают третьи.

* * *

и только дети слышали иногда...
и только муж знает, как страшно кричит она по ночам.
мышцы наливаются свинцом.
с остервенением сталкивает его с кровати.
вдруг замолкает, соскакивает на пол.
(удерживать бесполезно: ударит, что есть силы, вырвется.)
соскакивает – и тут же валится.
тогда муж зажигает свет.
укладывает ее, дрожащую. укутывает одеялом.
приносит стакан воды с валерьянкой.

и садится рядом и ждет, пока она не успокоится...

безусловно, муж ничего не знает о том старике.

* * *

они познакомились в кинотеатре. случайно оказались рядом.
он пришел один, и она пришла одна.

- стар и мал, - сказал он, улыбаясь.

разговор завязался непринужденно.

смеялись. обменивались репликами.

загадали на спор: каков будет финал.

проиграла - она.

когда вышли на улицу, он вежливо спросил:

- вы никуда не торопитесь? давайте погуляем!

с этого вечера они стали встречаться.

с ним было хорошо. с ним было интересно.

он многое знал, многое повидал. увлекательно рассказывал.

был вежлив и предупредителен.

она к тому времени уже потеряла невинность...

(деятельность среди подруг - считалась большим грехом!)

трое мальчиков было у нее по счету -

трое маленьких противных зверьков, одинаковых во всем.

одинаковые слова они говорили.

одинаково начинали трястись всем телом.

одинаково грубо тискали груди, лезли под платье.

одинаково забывали про нее, едва она их выпускала...

и она радовалась, что познакомилась со "старичком".

"я просто нравлюсь ему, как человек, - считала она. -

у него, по крайней мере, нет никаких похотливых желаний!"

ее мнение не изменилось,

когда он, однажды, прощаясь в подъезде, поцеловал в губы.

никакой дрожи, никаких облапываний, нежно и благородно!

* * *

в тот роковой вечер

они поужинали в ресторане. немного выпили.

он подарил золотой медальон на цепочке - с вкрапленным изумрудом.

- мне он достался по наследству. а что мне с ним делать?

именно этот медальон больно врезался в грудь,

когда очнулась...

именно этот медальон носила теперь, не снимая...
внутри медальона муж обнаружил - клочок пожелтой травы.
- это что у тебя? - спросил.
- с маминной могилы, - солгала, чтобы больше не приставал.
а на самом деле, это была трава из сквера -
с того места...

* * *

они зашли в сквер - просто так: посидеть, посмотреть на звезды...
ночь стояла тихая, ясная. в небе сиял прозрачный серпик луны.
и было оно чистое, настолько чистое,
что гляди - и увидишь: другую, темную половину лунного диска.
всюду - на ближних скамейках - сидели парочки.
пришлось пойти в самую глубь. в самый дальний угол.
сквер в ту пору пользовался дурной славой -
мало кто решался забираться в глушь...

о чем они говорили, как все получилось -
она почти ничего не помнит! -
было хорошо и свободно!
он шептал нежные, незнакомые, необыкновенные слова.
но не слова она слышала...
а музыку - таинственную, ласковую, властную...
лишь одно запомнилось четко -
перед самым, перед самым **этим**, она вдруг подумала:
" неужели он сможет? вот интересно!"

когда он вошел - не захрипел от радости, не задержался.
а нежно гладил ладонями щеки.
шептал теплые, тихие слова.
легко щекотал уши мягкими губами своими.
двигался медленно и осторожно.
и ее понесло, повлекло, потащило...
тело как будто растаяло... растворилось... исчезла тяжесть...
и она - отключилась. и она - потеряла сознание.
и она провалилась...

* * *

никогда в жизни -
таких отключений, таких проваливаний -
у нее больше не было...
и не могло быть! -
это она точно знала. это она великолепно понимала.

всем своим нутром! всем своим существом! -
никогда в жизни! ни с кем!

однако, муж - это она тоже понимала - не должен догадываться.
и он - даже и не догадывался!

как-то раз она подслушала
разговор подвыпившего мужа с приятелем.
- ты знаешь, - говорил муж, - мне кроме нее, никого не надо!
раньше я изредка давал левака. но никто лучше ее не умеет!..

* * *

когда она пришла в себя, он по-прежнему -
бережно терся щекой о щеку.
- милая, - прошептал, - позволь мне еще - побыть в тебе?
она даже рассмеялась:
- ну, конечно, можно!
а сверху - ярко сверкали звезды.
и шевелились, пошатываясь, и кружились - темные вершины деревьев.
незаметно - ее снова забрало, понесло, швырнуло...
а когда очнулась, прошептала удивленно:
- юрочка, я опять провалилась!
и только потом, позже, она догадалась,
что впервые назвала его по имени, без отчества...

и вновь он был нежен, деликатен, осторожен.
но уже начинало забирать и его:
все чаще становились движения, все реже - слова...
а она? а ее потащило! вслед за ним! вместе с ним! опять!

сознание вернулось от страшной тяжести.
от боли в груди. от того, что стало невозможно дышать.
он навалился всем телом - расслабленный, безвольный...
она рассердилась - толкнула его с себя.
явственно расслышала громкий тяжелый вздох...

* * *

нет, она не думала ни о чем плохом.
засмеялась - и убежала из сквера.
и весело представляла себе, торопясь домой,
как он очнется, а ее тю-тю! ищи-свищи!
нет, она не думала ни о чем страшном.
потому - устало и счастливо заснула.

спокойно и сладко спала.

тревога её охватила, когда внезапно пронулась...

* * *

его нашли рано утром в сквере...

ТО ЛИЧКА - ПТЕНЧИК
(физиологическая пастораль
с прологом, эпилогом и тремя лирическими отступлениями)

ПРОЛОГ
(в форме необходимой информации)

Толичку-птенчика - героя моей пасторали -
прозвали так - за любовь к уменьшительным суффиксам...

не "лес" говорил он - не "лесок", не "лесочек" -
"лесочечек"!

не "ручей" говорил он - не "ручеек", не "ручечек" -
"ручечечек"!

замочечек. платочечек. пиджачочечек. брючечки.
зарплаточечка. жизничечка. человечечество. земной шаричечек...

О ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ
(первое лирическое отступление)

любезнейший Евгений Саныч, счастливый Вы человек!
едва задумали писать свою Братскую поэму,
как тут же обратились за помощью к великим мира сего -
Пушкину-Лермонтову-Некрасову-Маяковскому-Блоку-Есенину-Пастернаку!
и они по-братски помогли создать художественное полотно.
как говорится, с миру по нитке...
и мне в Вашу компанию - ходу нет! Вы же сами и не пустите!

к кому же тогда обратиться?

может, к Бояну?

да чего к нему обращаться, если даже имя его неизвестно!
может, к Уитмену? или Рабле? или, как его там? - к Бодлеру?
но это же - иностранцы!

а я, слава Богу, как никак - патриот!

может, тогда - к Библии?

но ведь это же опиум для нашего народа!

может, к кому-нибудь из современников?
 например, к дражайшему Андрей Андреичу?
 который, в отличие от Вас, все никак не доедет до Братской,
 чтобы осуществлять свои проекты...

тем более, не стоит к нему обращаться!

может, к высокоблагороднейшему Роберту Ивановичу,
 который... (ну, нет! Роберта Ивановича,
 как учит народная мудрость, лучше не трогать!)

может, к своим друзьям обратиться?

или к старшим товарищам?

или к подрастающим гениям?

но ведь все они - тоже пишут!

зачем выпрашивать чужой хлебушко?

как видите, не к кому обратиться!

любезнейший Евгений Саныч, счастливый Вы человек!
 как Вы легко усваиваете! как Вы легко перевариваете! -
 любое, так сказать, впечатление! любую, так сказать,

духовную пищу!

вначале пережевываете ее, как следует.

обильно смачиваете слюной.

так что она потом - нежно и плавно

(и недолго, заметьте, пожалуйста!) -

горлом течет в пищевод.

а оттуда в желудок, где рычит желудочный сок.

где пища обрабатывается, разрыхляется, разделяется

на составные части.

и поступает в кишечник, где окончательно переваривается.

после чего - формируется, составляется в нечто цельное.

и выходит прекрасное стихотворение.

а если хорошенько поднатужиться, то и поэма!

а что у меня?

ничего не принимает болезный мой организм.

ничего не усваивает.

ничего не переваривает.

сразу выталкивает обратно!

это же - не творчество! это же - не работа! это же -

сплошная рвота!

вот так и появляются на свет:

осклизлые комочки слов,

непрожеванные фразы,

непереваренные, неоформленные строфы...

да и как дурно пахнет от них!
как я устал, любезнейший, как я измучился!

* * *

Господи, ниспошли мне выздоровление!
как я устал! как я измучился!

Раздел первый: ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ

приятно проснуться ранним утром. открыть глаза.
а комната вся залита горячим солнечным светом.
голова свежа, в теле – приятная легкость.
быстро вскочить с постели.
поскольку разлеживаться – вредно для здоровья!
и трусцой поспешить в туалет.
тугая струя ударит в дно унитаза.
одновременно расслабится и задний жом.
и мощный комок спрессованных газов разорвет тишину.
так всегда начинается утро у Толички-птенчика.

о писатели!
о жрецы целомудренной нашей литературы!
активисты физкультурного движения!
уличаю вас: вы допускаете неточность, утверждая,
будто у всех хороших людей – день начинается с утренней
гимнастики.

неправда! даже самые положительные герои
(пахари, председатели колхозов, передовики производства, новаторы)
начинают свой день с того же, что и Толичка-птенчик.

ну, конечно, с некоторыми модификациями!

даже император Наполеон каждый свой день начинал с того же!
даже неподкупный Робеспьер...
да что там – Наполеон, Робеспьер, Иосиф Виссарионович...
даже Иисус Христос –
именно так начинал на земле свое каждое утро!
точно так же, как и Толичка-птенчик!

* * *

однако, всему свое время!
время – омочить унитаз!

и время – заняться утренней гимнастикой!
вначале Толичка-птенчик делает маленькие потягушечки.
надо подготовить мышцы. размять их, разогреть.
и только позже – следует приступить
к полному комплексу физической зарядки.
после зарядки – потный, красный, горячий –
Толичка-птенчик шествует в ванную.
и кряхтит. и отдувается. и ворочает плечами.
и бережно похлопывает сам себя под холодным душем. и...
блаженствует, предвкушая обильный завтрак.

Толичка-птенчик твердо усвоил:
завтрак съешь сам, обед подели с другом, ужин отдай врагу.
нет, конечно, ни с каким другом он ничего не делит.
и никакому врагу, конечно, не отдает свой ужин.
было бы слишком расточительно!
но самую сущность данной заповеди – выполняет неукоснительно.
также неукоснительно выполняет он и другую заповедь:
тщательно пережевывает пищу.
каждый кусочек он пережевывает не менее 20-25 раз.
правда, иногда, когда торопится, допускает 17 пережевываний.
но, по крайней мере, не меньше 14 – в любом случае!

* * *

а теперь тоже очень важный момент:
Толичка-птенчик **идет** на работу!
до работы минут 30-35 ходу.
но Толичка-птенчик не торопится: тратит на дорогу целый час.
такие неторопливые прогулки на свежем воздухе –
чрезвычайно полезны для здоровья. а, кроме того, приятны.
приятно не спеша идти по улице – и размышлять, и философствовать.
это ежедневный философский час в жизни Толички-птенчика.
больше часа в день размышлять о загадках бытия – опасно!
ибо может переутомиться кумполочек.

очень любит Толичка-птенчик
разглядывать прохожих, спешащих на работу.
а поскольку путь пролегает мимо перчаточной фабрики,
то, в основном, ему встречаются женщины.
самые разные женщины:
молодые и старые. высокие и низкорослые. красивые и так себе.
все – разные!

но у каждой между ног

(вот что удивительно!)

одна и та же "эта самая штучечка"!

от которой все беды на свете!

все неурядицы! в том числе, и служебные!

вот, например, девица. на лице явные следы ночных излишеств.

губы припухли. щеки бледны, ввалились.

под глазами – сиреневые мешочки.

небось, баловалась всю ночь!

да еще курила!

да еще употребляла спиртные напитки!

какой из нее работник!

и голова, конечно, трещит. и спать хочется. и там – горит!

как она будет выполнять свои служебные функции?

безусловно, начнет портачить!

* * *

...наступает самое тяжкое время – рабочий день.

тошно, противно, неблагоприятно для здоровья –

столько часов подряд сидеть за столом в конторе!

потеть! удерживаться!

чтобы уменьшить, хоть как-нибудь,

вредное влияние служебного тягла,

Толличка-птенчик разработал целую систему охранительных мер.

так сказать, специфическую стратегию и тактику.

в стратегии самое главное:

не допускать, чтобы переутомлялся кумполочек.

нужно систематически (2–3 раза в час) делать для себя передышечки.

бесспорно, незаметные для окружающих!

как бы продолжая работу, склониться над бумагами –

и отвлекся! и отключиться! и впасть в нирвану!

но не закрывая глаз! не меняя выражения лица!

наоборот, со стороны должны воспринимать данное состояние,

как глубочайшую сосредоточенность!

наиболее удобно производить сию процедуру – при посетителе.

вроде бы внимательно рассматривая собранные им документы.

(безусловно, лишь в тех случаях, если документы в порядке!)

посетитель замолкнет в напряженном ожидании.

беспокоясь, что снова есть некий изъян в представленных справках.

и тогда, отдохнувши, можно его ободрить.

и посетитель доволен! и самому хорошо!

во-вторых...

для сохранения душевного равновесия -
ни в коем случае нельзя ввязываться
ни в какие служебные конфликты!
не поддерживать - никого! - из борющихся группировок!
со всеми сохранять ровные деловые отношения!
никоим образом, ни при каких условиях -
нельзя осуждать ни одного из сотрудников!
даже не стоит принимать участия в подобных разговорчиках!
в особенности, если это касается начальников!
тем более, непосредственных начальников!
если уж разговаривать с сослуживцами,
то лишь на деловые или нейтральные темы.

в третьих...

вести все служебные бумаги так, чтобы комар не мог подточить носа!
в любом деле, чтобы не возникло неожиданных недоразумений,
короче говоря, для безопасности,
необходимо всегда иметь в виду:
запасной или, еще точнее, пожарный выход!

в четвертых...

никогда не бранить посетителя!
быть всегда вежливым, уважительным!
быть всегда заинтересованным в просьбе!
ибо клиент всегда прав!
и тогда любое дело можно вести
в два - в три раза медленнее,
чем грубияны-сослуживцы!
а дурак-посетитель будет тебе благодарен!
а на них строчить жалобы!

такова - стратегия. тут все легко и просто.
гораздо труднее - тактика.

вот, например...

в комнате затеяли разговор о новом увлечении начальника.
о новом его романе с молоденькой сослуживцей.
встречной нейтральной темой такого разговора не перебеешь.
как говорится, плетью обуха не перешибешь.
что же делать?
ну, конечно, углубиться в бумаги!
но это - не выход! далеко - не выход!
потому что обязательно спросят:

- а что вы, Анатолий Петрович, думаете?
и нужно с озабоченным видом отрываться от бумаг:
- извините, не слышал, о чем разговор?
но и этого - мало! и это - тоже не выход!
надо еще доказать всей этой конторской шелупони,
с каким сложным вопросом столкнулся!
такой им подкинуть вопросичек,
чтобы они моментально о своем разговоре забыли!
и начали бы ломать головы!
вот здесь-то и начинаются: все сложности, все трудности.
только поспевай пошевеливать извилинками.
ведь каждый раз нужно придумывать новую каверзу!
новую загогулинку!

причем, в самые сжатые сроки!
да к тому же - вполне реальную загогулинку!
в плане, так сказать, текущих служебных дел.
сколько отнимается душевных сил!
сколько тратится мозговой энергии!
но ничего не поделаешь - суровая необходимость!

еще пример...

подходит к твоему рабочему месту сотрудница.
лицо скорбное. на глазах слезы.
разве увильнешь от разговора? приходится спрашивать:
- что с вами Марь-Иванна? что случилось? на Вас же - лица нет!
и вдруг выясняется: ее обидел начальник.
вменил ей в обязанность функции, какие ей по штату не положены.
в порядке, как он выразился, общественной нагрузки.
а потом еще добавил:
- Родина вас не забудет!
- с этой свистульки снял, - причитает Марь-Иванна. -
чтоб у нее было больше времени - для всяких любезностей!
а со мной даже разговаривать не захотел!
"если не согласны,
пишите заявление - по собственному желанию..." -
и Марь-Иванна плачет навзрыд.
(слава Богу! рыдает - значит, легче поддастся суггестии!)
- и правильно, что вы плачете! -

начинает Толичка-птенчик пламенную речушку.

- и хорошо, что плачете!

всегда в таких случаях - нужно немножко поплакать!
ибо, как утверждают ученые,
слезы, не выплаканные глазами, выплакиваются другими органами.

а Вы плачете!
стало быть, остальные органы не пострадают!
(здесь надо чуть-чуть помолчать. подождать.
а потом снова - с места в карьер!)
- ну, вот - поплакали... и хватит - переживать!
ведь ничего страшного не произошло!
ну, немножечко обидел начальничек.
так он нас всегда обижает - такова его функция!
успокойтесь. не надо волноваться.
от волнения разрушается гемоглобин.
развивается кислородное голодание всего организма.
а это не только отрицательно сказывается на внешнем виде.
но и подрывает общее здоровье.
запомните: здоровье теряется пудами, а собирается золотниками.
берегите свое здоровье - пока не поздно!
здоровье - самое главное в жизни!

* * *

очень любит Толичка-птенчик и другую народную поговорку:
"сколько веревочке не виться..."
что означает: сколько рабочему дню не длиться,
последняя минута все равно настанет.
последняя минута! сладчайшая минута!
ни у какого любовника, когда он шепчет своей подруге: "я кончил!"
лицо не светится такой безбрежной радостью, таким блаженством,
как у Толички-птенчика, когда он поднимается из-за стола:
- я кончил!

выходя из конторы,
Толичка-птенчик делает всегда особый жест:
как будто выключает огромный электрорубильник.
это он вырубает себя из служебной деятельности:
так, чтобы до следующего утра - не вспоминать о ней!

теперь у Толички-птенчика
ответственнейшие хозяйственные хлопотунчики:
нужно закупить продукты в магазине.
тут уж зевать не приходится. отвлекаться - ни в коем случае!
иначе - обязательно подсунут что-нибудь недоброкачественное!

Толичка-птенчик - ярый враг всяческих столовых и ресторанов.
во-первых, невкусно готовят. и дорого!
во-вторых, отсутствуют санитария и гигиена.

продукты закладывают грязные. работают грязными руками.
может быть, даже! - харкают и сморкают в котел! -
кто их проконтролирует?
в третьих, непродезинфицированная жирная посуда.
чудаки! которые вытирают салфетками вилки и ложки!
ведь тарелку-то все равно не протереть, когда в ней уже суп.
да и салфетки... пока резали, залапали грязными пальцами!

Толичка-птенчик всегда сам себе готовит пищу.
кушает - только дома. в обеденный перерыв - к услугам автобус.
ерунду говорят: мол, мужчины - не умеют готовить.
даже рыба - рыба-Наденька -
(так Толичка-птенчик называет любимую женщину) -
и та признала полное свое поражение в кухонных вопросах.
единственное, что Толичка-птенчик ей позволяет -
чистить картошку и мыть посуду...

* * *

и вот Толичка-птенчик приходит домой.
тщательно вытирает о коврик ноги.
сразу же снимает ботинки.
закладывает в холодильник купленные продукты.
теперь все готово к Высочайшему Часу!
никаких забот! никаких дел! нужно лишь переодеться!

но пока Толичка-птенчик бережно снимает с себя рабочую одежду:
пиджачочечек, брючечечки, рубашечечку, галстучечек.
пока он внимательно их рассматривает:
нет ли пятнышек, петелек, протертостей.
пока он нежно сдувает пылинки с костюмчика.
пока он аккуратно развешивает каждую отдельную вещичку.
пока он, наконец, неторопливо надевает удобную домашнюю пижамку.
давайте посмотрим, хоть мельком, его кооперативную квартирку.

это изолированная однокомнатная жилплощадь:
комната - 16,3 метра; кухня - 7,6 метра; потолки высокие;
единственное неудобство: совмещенный санузел с маленькой ванной.
в квартирке - идеальнейшая чистота!
где угодно проведите пальчиком или ваткой -

ни пылинки не соберете!

мебель - самая необходимая.
в кухне - рижский гарнитур, купленный по благу.
и уже упоминавшийся холодильник ЗИЛ - в экспортном варианте.

в комнате - широкая деревянная кровать.
полированный платяной шкаф. раздвижной стол - на всякий случай.
два удобных кресла - с торшером и журнальным столиком.
цветной телевизор "Электрон" на изящной подставке.
на полу, во всю ширину комнаты, серого цвета палас,
Гэ-Дэ-ЭР-овский.

в общем, просторно, уютно, со вкусом.
и как все блестит! и как все сверкает! нигде ни единой царапинки!

предвижу...

конечно, предвижу вопрос, о дотошный читатель!

да, в квартирке у Толички-птенчика
нет ни этажерки, ни книжного шкафа, ни, разумеется, книг!
книги в квартире держать - пыль собирать!

больше от книг - никакого прока!

кто их пишет? о дотошный читатель! -

голь перекатная! шелупонь всякая! шушера непотребная!

запойные алкоголики пишут! половые психопаты! чревоугодники!
чему полезному они могут научить?

а если чему и могут, так то же самое покажут по телевизору.

а телевизор смотреть - менее утомительно, чем книги читать.

меньше устают очки и кумполочечек!

единственный печатный орган, признаваемый Толичкой-птенчиком -
журнал "Здоровье".

там хоть помещают иногда - любопытненькие статеечки!

* * *

наконец, Толичка-птенчик переоделся!

Толичка-птенчик дождался своего Высочайшего Часа!

через сколько препятствий,

через сколько унижений,

через сколько самоограничений

продирался он к Нему!

и самое страшное из препятствий -

Контора!

о проклятая Контора - исчадие ада!

о конторские муки! сравнимые - лишь с муками Тантала!

сидишь за столом. за своим рабочим местом...

и вдруг - накатит!

мощный комок начнет давить на сфинктер. требовать выхода!

и нужно удерживать его в себе. ничем не выдавая сослуживцам -
своей внутренней борьбы!

своего внутреннего напряжения!

своего тайного мучения!

откатит комок – и накатит снова! еще мощнее! еще беспощаднее!

приходится вскакивать из-за стола – сразу, немедленно!

хорошо, если у тебя посетитель! –

можно схватить одну из его бумажек:

вроде бы для проверки в другом отделе! –

и шагом марш в коридор!

быстрее!

быстрее!

быстрее!

а если нет посетителя? –

чувствовать спиной насмешливые взгляды сотрудников...

(вернее всего, никто не догадывается: в чем именно дело.

просто принимают – за некую странность...

но разве от этого легче?)

...и вот, выскочив в коридор, утарапливать шаги:

быстрее-быстрее! – направо за угол, потом налево...

какое счастье, если туалет не занят!

мгновенно набросить крючок. нажать на рычаг.

чтобы вода в унитазе – заклокотала, забурлила, загрохотала.

и расслабиться! и хлопнуть во всю свою мощь!

затем еще раз! затем еще!

а если занят туалет – единственный на все учреждение! –

ничего не остается, как медленно идти по коридору,

распушив за собой длинный павлиний хвост.

опасаясь за каждую порцию: как бы не передозировать...

а если чувствуешь: не сумеешь выпустить беззвучно,

нужно бежать в противоположный конец коридора –

туда, где в нише – бачок с кипяченой водой.

и стоять там, воровски озираясь по сторонам...

но это еще не самый мучительный вариант!

гораздо мучительнее:

вернуться на рабочее место, сесть за стол

и вдруг ощутить – опять накатило!

но и это еще не самый мучительный вариант!

самое мучительное:

благополучно выбраться в коридор. благополучно занять туалет. –

вот уже вода зарычала в унитазе. – а выхлопа все нет и нет!

тужишься-тужишься! а выхлопа все нет и нет!

вот уже сбежала вода, замолкла – и вновь зарычала!

а выхлопа все нет и нет!
и в третий раз зарычала. а все бесполезно!
отмаявшись, возвращаешься на рабочее место.
и только усядешься...
как спрятавшийся неведомо куда комок - тут как тут!
безжалостно давит на сфинктер. бескомпромиссно требует выхода!
ну чем не танталовы муки?

* * *

поэтому - так блаженно жмурится Толичка-птенчик,
укладываясь на кроватку и принимая удобную позочку.
теперь не нужно никаких волевых решений.
все процессы протекают вполне естественно.
минута... другая...
и кишечничек великолепно срабатывает:
подгоняет первую порцию к выходу.
о, какой мощный разряд сотрясает воздух!
с треском, с болью в прямой кишке!
словно огромный фиолетовый шар окутывает Толичку-птенчика.
мгновенно растворяясь в окружающем воздухе.
мгновенно -
потому что Толичка-птенчик
даже не успевает почувствовать запаха.
второй фиолетовый шар... третий фиолетовый шар...
а после - выхлопы становятся потише. но и погуще.
ибо ноздри успевают обонять легонький запашочечек.
это уже не фиолетовые шары, а синие!
затем следуют - голубые, зеленые...
с каждым новым цветом -
шары все гуще, все запашистее, все устойчивее... -
но и все мягче, все глуше, все мельче.
и когда приходит черед желтым шарам,
то запах - уже достаточно долго держится.
оранжевые шары выкатываются мягко, почти без усилий.
они труднорастворимы в окружающем воздухе.
и вот наступает этап - красных шаров!
диаметр их невелик - с волейбольный мячик.
они выкатываются - сразу по несколько штук.
они парят в воздухе. сталкиваясь друг с другом. но не лопаются.
они удушливы - до отвращения!
но в то же самое время:
они прозвестники следующей - сладчайшей фазы!
с приходом красных шаров можно смело садиться на толчок.

вы – всю свою жизнь прославляющие свободу!
что вы знаете о свободе? ничего не знаете!
вы сами навечно скованы – кандалами своих же теорий!
вы сами навечно заперты – в темницы собственных умозаключений!
вы сами навечно приговорены – служить оружием в чужих руках!
посмотрите, господа вольнодумцы! посмотрите, пожалуйста!
посмотрите, господин Сартр! и все ваше сартристское племя!
посмотрите на Толичку-птенчика, выходящего из сортира!
какое вдохновенное лицо! какое одухотворенное лицо!
вот вам – свободный человек, о котором вы мечтали!
вот вам – истинно свободный человек!

о, предвижу ваши воинственные клики:

- за решетку Александра Лещева!
- к стенке его!
- вечный позор!

о, предвижу серьезнейшие объективные возражения:

- допустим, – скажете вы, – автор, возможно, в чем-то и прав.
- но ведь Толичка-птенчик – сразу же после опорожнения кишечника – моет руки. садится за стол – и... принимает пищу!
- а, значит, вновь делается несвободным!
- как бы ни был скромн его ужин.

да-да, вы правы, мои объективно мыслящие оппоненты!
приняв пищу, Толичка-птенчик вновь делается несвободным.

ну и что из этого? он – был!!! – свободным...

так часы со сломанным механизмом –
два раза в стуки показывают абсолютно точное время.

пусть раз в сутки...

но Толичка-птенчик бывает **абсолютно** свободным!
по крайней мере, свободней любого из вас, господа вольнодумцы!
вы, даже сидячи на стульчане (судя по вашим работам),
думаете, в первую очередь, о благе всего человечества.

забывая о собственном блаженстве!
не испытывая великого чувства освобождения!

ибо только это и есть:
единственно возможное человеческое освобождение!

ибо только это и есть:
единственно возможная человеческая свобода!

все остальное – суета и томление духа!

раздел второй: СЕКСУАЛЬНО-ГЕНИТАЛЬНЫЙ

каждую пятницу к Толичке-птенчику

(сразу же после Высочайшего Часа)

приходит рыбка-рыбочка Наденька.

Толичка-птенчик в ожидании рыбки - возбужденно ходит по комнатке. и насвистывает различные оптимистические мелодии.

и нежно мурлычет: "Наденька-Наденька - вкусненька и сладенька!"

если же Наденька задерживается, Толичка-птенчик гневается.

и уже не мурлычет, а скандирует шепотом:

"Наденька-Наденька - непошита, старенька!"

"Надьку-Надюху - буду бить по уху!"

* * *

бесспорно, гораздо удобнее было бы, -

считать Толичка-птенчик, -

вообще обходиться без женщин!

такие это строптивые, трудноуправляемые существа!

сколько душевных сил надо потратить!

к каким изощренным методам прибегать!

как нужно научиться изворачиваться! -

чтобы управляться с ними!

чтобы держать их в повиновении!

лучше, конечно, не иметь с ними дела!

но пестик! неугомонный пестик! -

который, как дьявол, искушает тебя по ночам! особенно под утро!

проснешься - а он налился, что пиявка. пульсирует. торчит.

и нет никакого с ним сладу!

отсюда - недосыпание, чувство разбитости, желудочные расстройства!

безусловно, можно достигнуть освобождения,

и не прибегая к женской ласке - собственной рукой.

но это тебе не на руку! не пойдет на пользу!

ибо пестик, когда толчется в женской ступочке,

не только получает наслаждение,

но и, как мощный насос, втягивает - сквозь тонкий эпителий -

женские половые гормоны

и другие полезные вещества, не открытые пока учеными,

однако же - чрезвычайно необходимые организму.

поэтому - на данном этапе развития науки и техники -

никакая химия, никакой фантом не смогут заменить

живой здоровой женщины, вырабатывающей полноценные гормоны.

рыбка-Наденька хороша во всех отношениях -

Толичке-птенчику обижаться не приходится! -

и как женщина хороша, и характер покладистый.

в общем, Наденька - прекрасна без извилин!

вернее, без лишних извилинок в кумполочечке!

в начале их отношений она нередко обижалась:

почему Толичка-птенчик не покупает цветов?

но Толичка-птенчик убедительно доказал, что рыбка не права.

- что такое цветы? - спросил Толичка-птенчик и сам же ответил:

- цветы - это половые органы растений.

и когда мужчина дарит женщине букет цветов,

он, на самом деле, дарит ей букет половых органов!

проказник!

так же убедительно доказал Толичка-птенчик,

что нет никакого смысла встречаться чаще, чем раз в неделю.

так убедительно доказал, что Наденька сама начала утверждать:

- как хорошо, что мы встречаемся не каждый день.

такие разлуки - укрепляют наши отношения.

знаешь, я всю неделю жду-не-дождусь пятницы,

нашей пятницы!

жду нашей встречи, как самый радостный праздник!

а если бы жили вместе, наверное, быстро бы надоели друг другу!

(впрочем, ни на что большее - в смысле замужества! -

рыбка и претендовать не может:

у нее двое детей от первого брака!

да и оставаться на ночь в другие дни - нет возможности.

опять же дети!

которых на выходные дни она отвозит к бывшей свекрови.

таков был уговор с мужем, когда разводились.)

кроме всего прочего, Толичка-птенчик приучил рыбку -

не держать в чреве газов. выпускать их тотчас, как подкатят.

- гут! - восклицает пускающий ветры.

- гут-гут! - восторженно откликается партнер.

по субботам, нежась утром в постели.

они даже соревнуются: кто больше пустит голубков.

проигравший убирает постель.

* * *

вечером, в пятницу,

Толичка-птенчик позволяет себе возбуждаться не более трех раз.

ибо большее число возбуждений - вредно для организма!
первый раз Толичка-птенчик возбуждается для удовольствия.
второй раз Толичка-птенчик возбуждается для собственной пользы:
как можно дольше задерживает половой акт,
чтобы пестик максимально насосал в организм гормонов.
в третий раз Толичка-птенчик, чтобы не переутомляться,
возбуждается, как он сам выражается, пассивно.
- Наденька, ротичком! - просит он. - возьми, пожалуйста, ротичком!
- глоточечками...
- глоточечками...

в субботу они совместно занимаются уборкой квартирки.
а после обеда начинают собираться в гости.
"дозированное общение, - считает Толичка-птенчик, -
благоприятно воздействует на нервную систему.
обогащает познания. расширяет кругозор".
из гостей они уходят обычно часов в девять - в десять. не позже!
надо оставить времечко и для своих потребностей!
в субботу Толичка-птенчик позволяет себе возбуждаться
лишь дважды:
один раз - "в ступочку", второй раз - "ротичком".

в воскресное утро они обычно уезжают за город - на природу.
летом - в лесочечек, на ручеечечек, с костерочечком.
зимой - на лыжную базочечку, также в лесочечек.
(надо ли доказывать полезность подобных вылазок на природу!)

когда возвращаются домой, Наденька становится грустной:
приближается новая разлука!
и Толичка-птенчик, дабы ее успокоить, еще раз возбуждается!
и на этот раз полностью - для удовольствия, для наслажденьца!
и своего! и рыбкиного!

* * *

теперь всю неделю они будут лишь перезваниваться.
утром Наденька будет звонить Толичке в контору.
а вечером -
сразу после Высочайшего Часа и последующего приема пищи -
Толичка будет звонить Наденьке из телефона-автомата в подъезде.
сослуживцы, которые поневоле внимательно слушают Толичку-птенчика,
ничего не могут понять... в самом деле, вот например:
- а я тебя - сто!

- а я тебя - тысячу!
- а я тебя - десять тысяч!
- а я тебя - сто тысяч!
- а я тебя - миллион!
- а я тебя - миллион триллионов!

положа руку на сердце, утверждаю:

вряд ли кто догадался, что они целуются по телефону!

однако, о чем бы ни говорили, как бы долго не целовались, вечером, в конце разговора, Толичка обязательно спрашивает:

- ну, а как функционирует кишечничек?

если нормально функционирует, Толичка-птенчик ласково прощается.

если же стула не было, Толичка-птенчик обеспокоен.

просит рыбку принять на ночь две таблеточки слабительного.

а утром обязательно справится: помогло ли?..

О ВЕЧНОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ (третье лирическое отступление)

вижу-вижу, как побагровели лица

у благородных читателей, приверженцев высокой поэзии.

вижу-вижу, как побелели крепко сжатые кулаки

у целомудренных поэтов, воспевающих чистую любовь.

слышу-слышу негодующие возгласы:

- как мог так низко пасть, так опуститься автор?

- как он посмел низвести любовь до двух таблеток слабительного?

- как он решился - так цинично оскорбить достоинство Женщины?

- женщина - это высший дар природы! это божественный свет!

- женщина - это сама нежность и целительная кротость!

- женщина - это воплощение доброты!

- это символ уюта и тепла домашнего очага!

- женщина - это средоточие высшей земной красоты!

- и прелести ее секрет - равносителен разгадке жизни!

извиняюсь. каюсь. преклоняю колена перед вами,

поборники чистой и высоконравственной лирики!

но позвольте, дорогие мои, в свое оправдание -

задать вам один вопрос? всего один-единственный вопросичек?

прошу вас, подумайте... прошу вас, представьте себе...

женщина, которую вы любите так чисто и целомудренно,

вдруг стала фригидной в постели, то есть, холодной к вам.

а фригидная женщина, как утверждают сексопатологи,

это уже не символ доброты и кротости!

это мегера! это ведьма! это злыдень!

все ее раздражает:

любое ваше слово, любой ваш жест, любое ваше движение!

она (по неразумению своему)

уже считает вас сексуально некомпетентным!

она, как волчица, рыщет -

ищет другого - более компетентного, с ее точки зрения, мужчину!

а теперь снова обратимся к научным выкладкам!

причиной фригидности у женщины - довольно часто! -

является хронический спастический колит -

проще говоря, запоры.

так вот - неужели вы по-прежнему будете говорить

охладевшей к вам женщине

только высокие и целомудренные слова?

неужели по-прежнему будете называть ее

светочем, путеводной звездой, владычицей своею?

неужели по-прежнему будете читать ей интимные лирические стихи?

что-нибудь вроде:

я помню чудное мгновенье:

передо мной явилась ты,

как мимолетное виденье,

как гений чистой красоты...

как это убого, дорогие мои читатели,

по сравнению с двумя таблетками слабительного - на ночь...

ЭПИЛОГ

(в форме здравницы)

да здравствуют очи, зрящие пищу!

да здравствуют ноздри, обоняющие пищу!

да здравствуют руки, подносящие пищу ко рту!

да здравствуют зубы, перемалывающие пищу!

да здравствуют слюнные железы, смачивающие пищу!

да здравствует язык, воспринимающий вкусовую гамму пищи!

да здравствуют глотка и пищевод, проводящие пищу в желудок!

да здравствует желудок,

переваривающий пищу!

да здравствует печень и поджелудочная железа,

участвующие в пищеварении!

да здравствует тонкий кишечник,

высасывающий из пищи необходимые полезные вещества!

да здравствует толстый кишечник,
формирующий непереваренные остатки пищи!
да здравствует прямая кишка,
выводящая наружу непереваренные остатки пищи!

да здравствует весь пищеварительный тракт!
самая важная, самая главная магистраль в человеческом организме!
самая высокоорганизованная система человека, ГОМО САПИЕНСа!

да здравствует Толичка-птенчик – счастливейший обладатель
великолепно действующего желудочно-кишечного тракта!

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ПОПОЛУДНИ...
(поэма)

В.Н.Л.

каждое воскресение пополудни
на кладбище приходит женщина...
молодая. лет тридцати двух.
с красивым надменным лицом.
с черными вьющимися волосами.
высокая. стройная. всегда модно одетая.
длинные легкие ноги будоражат встречаемых мужчин.
тугие груди выпирают сквозь платье острыми сосками.

каждое воскресение пополудни
останавливается она у кладбищенских ворот.
останавливается, чтобы перевести дыхание.
чтобы отрешиться от житейских забот и будничных дел.
останавливается, чтобы расправить букет тюльпанов.
(почему-то всегда тюльпанов – в любое время года!)
останавливается, чтобы раздать мелочь нищим.
с которыми здороваются. которых знает по именам...

каждое воскресение пополудни
на кладбище приходит женщина...
ни к отцу приходит. и ни к матери.
ни к сыну, ни к дочери. ни к сестре, ни к брату.
приходит к совершенно чужому человеку.
приходит к самому близкому человеку.
к тому, единственному в мире, с кем она была Женщиной,
а не резиновой трубкой, как ее называет муж.

кто объяснит ей - Женщине,
что нет его больше на свете?
навек исчезли руки, которые ее обнимали.
навек исчезли губы, которые ее целовали.
навек исчезло тело - красивое сильное тело...
навек... навеки... навеки...

кто объяснит ей - Женщине,
что мир не заметил потери?.. даже не заметил потери!
по их улочкам бродят теперь другие.
под их деревьями целуются теперь другие.
в их комнате (Господи, в той же самой!)
другие... другие... другие...

кто объяснит ей - Женщине,
что только бесплотная тень является к ней по ночам?
бесплотная тень обнимает ее по ночам.
бесплотная тень целует ее по ночам.
бесплотная тень сжигает ее по ночам...
бесплотная тень... бесплотная тень... бесплотная тень...

* * *

тяжелая мраморная плита лежит на его могиле...
вокруг - цветы. аккуратно подстриженная трава.
легкая ажурная ограда - нежно-голубого тона.
дорожка, посыпанная мраморной крошкой.
детская лейка, ножницы, чистая тряпка -
спрятаны в дальнем углу ограды, в траве.
скромная скамейка. свежие тюльпаны в глиняном кувшине...
изящество, тонкий вкус чувствуется во всем!

тяжелая мраморная плита лежит на его могиле...
так он сам пожелал однажды. в шутку или всерьез? - неизвестно!
- знаешь, - сказал он, - отец мне как-то по пьянке признался:
они зачали меня на могильной плите.
прошел дождь - и примоститься было больше негде.
- это прекрасно, - воскликнул, - быть зачатым на могильной плите!
когда я умру, на мою могилу - пусть тоже положат плиту.
может, и она - кому пригодится!

тяжелая мраморная плита лежит на его могиле...
на самой окраине кладбища - в роще.
никто из родных не приходит сюда - некому.

семьи он не заводил. с родственниками не знался.
а родители, больные и немощные,
живут далеко – в Амурской области...
хотели бы переехать поближе к сыну –
да разве их кто пропишет?

* * *

за три месяца до его смерти
она грубо рубанула однажды:
– слушай, пора закругляться! хватит!
муж начинает следить за мною.
он мне мерещится в каждом подъезде.
в каждом сквере мерещится. в каждом переулке.
наши встречи превратились для меня в пытку.
он же выгонит, вышвырнет меня из дому.
и я же останусь в дурочках!

за три месяца до его смерти
она твердо решила пересилить себя.
она трезво взвесила все "за" и "против".
она ясно поняла, что они – не пара!
мямля, мякина, неприспособленный к жизни человек.
сойтись с ним – значит, обречь себя на муки.
значит, обречь себя – на вечную нужду и лишения.
и его, и себя извести вконец!
лучше обрубить сразу!

за три месяца до его смерти
он нагло, как ей показалось, усмехнулся в ответ:
– не печалься! все само собой образуется.
я скоро влюблюсь в другую.
а, может быть, просто – помру.
поплачешь немного – и успокоишься.
и жить начнешь припеваючи –
со своим распрекрасным мужем,
в своей распрекрасной квартире!

* * *

в тот миг, когда, истекая кровью,
он корчился на апрельском снегу....
она поняла внезапно (сторонники телепатии – торжествуйте!)
она осознала каждой своею клеточкой,
что жить без него не может.

женщина, которую она подавляла, восстала в ней.
страсть, которую она сдерживала, восстала в ней.
нежность, которую она заглушала, восстала в ней.
твердые решения, трезвые выводы - все полетело к чертям!

в тот миг, когда, истекая кровью,
он корчился на апрельском снегу...
она, изнывая от страсти и нежности,
вспоминала о нем. вспоминала голос его и улыбку.
вспоминала, как он дурачится и веселит всех,
когда ему весело самому. (когда ему весело...)
вспоминала, как он обиженно надувает губы,
а глаза становятся влажными и грустными, как у коровы, -
когда он сердится. (а его так легко рассердить...)

в тот миг, когда, истекая кровью,
он корчился на апрельском снегу...
она, наконец, решилась: уйти к нему.
стать - пусть рабой, пусть служанкой.
кормить его. одевать его. стирать его белье.
угадывать любое желание.
выполнять любой каприз.
мучиться, бедствовать - как угодно.
только бы быть - рядом!

* * *

он никогда не узнает:
как она побелела. как уронила руки.
когда ей сказали, что он - погиб...
как без пальто, в тапочках - по ночному снегу
кинулась она в больницу - к моргу.
куда его привезли для вскрытия.
как кричала, звала его в исступлении.
как ее с трудом оттащили. увели домой...

он никогда не узнает:
как долгих два дня и две ночи сидела она в своей комнате.
сидела она в своей комнате. долгих два дня и две ночи.
без сна. без мыслей и слез. тупо уставясь в окно.
как гневно сверкали ее глаза (дико и гневно!),
когда муж украдкой заглядывал в дверь.
опасаясь: как бы чего не случилось.
- оставь меня! - кричала она. - оставь!
я ничего не сделаю! только не трожь, не трожь...

он никогда не узнает:
каким напряжением воли - ей удалось
спокойно, без слез вместе со всеми идти за гробом.
спокойно, без слез смотреть на его неживое лицо.
спокойно, без слез слушать прощальные речи.
выдержать, не броситься на грудь.
спокойно, без слез разжать холодный мокрый комоч.
и торопливо уйти домой.
не дожидаясь, пока зароят могилу...

* * *

муж простил ее. муж рассудил здраво:
раз она все еще бегает на кладбище,
вряд ли спуталась с кем-нибудь другим.
легкая ажурная ограда - его работа.
он же заказывал в мастерской мраморную плиту.
и помогал устанавливать ее на могиле.
он доставал мраморную крошку. завозил чернозем.
он по субботам ездит на рынок за тюльпанами.
не допытываясь: почему именно - тюльпаны?
соседи, знакомые, сослуживцы - простили ее.
- ну что же, - решили они, - кто из людей не грешен?
и лишь одно осталось всем непонятно:
зачем она таскается на кладбище каждое воскресенье?
все наперебой хвалили ее мужа:
его выдержку, его благородство, его такт.
в конце концов, один из умников догадался:
- а не тронулась ли она слегка? чуть-чуть?..
и это всех успокоило.

и родители простили ее (те, что в Амурской области).
родители погоревали-погоревали, поплакали-поплакали...
да и успокоились:
ведь могила ухожена. цветы посажены. ограда поставлена. -
чего ж им желать еще?
"никто в его смерти не виноват!" - решили они.
по праздникам они присылают поздравительные открытки.
иногда собирают посылку с кедровыми орешками.
которые так любил их сын...

* * *

каждое воскресенье пополудни
на кладбище приходит женщина...

Александр ЖОЛКОВСКИЙ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

- ...теоретически мы узнаем об убийстве очень рано. Чуть ли не в детстве читаем Достоевского, смотрим детективы. Но это далеко не то же самое, что убить самому. Поверите ли, я до сих пор помню своего первого опоссума! С самого начала в Америке мое внимание привлек автомобильный фольклор на тему: "Я не давлю животных". Но лишь через много-много лет в свете фар передо мной заковывал этот нелепый увалень с печально опущенной мордой и лысым хвостом. Раньше, чем я мог что-либо сообразить, я почувствовал легкий хруст и, оглянувшись, увидел, что он неподвижно застыл на асфальте. Помню, как сейчас. А ведь вины моей в этом было немного, его убила собственная бестолковость, ну и моя тоже, но прежде всего инерция машины и, главное, вся наша автодорожная цивилизация. Так сказать, неисповедимость шоссе господних.

Свобода наших поступков вообще сильно преувеличена. Во всяком случае, моих. Я даже не имею в виду политику. Например, как я теперь понимаю, я никогда не любил свою первую жену. А между тем, я не только объяснялся ей в любви, но и долго ухаживал за ней, ревновал к сопернику, добивался ее руки. Как это случилось? Мне показалось интересным признаться в любви первой же симпатичной девушке на курсе и посмотреть, что из этого выйдет. И вот, незаметно сплелся сюжет, по странной логике которого мы прожили вместе семь лет. Впрочем, все это гораздо лучше описано у Пруста.

Чтобы разойтись с ней, мне пришлось влюбиться в мою следующую жену. Но освобождение обернулось очередной тюрьмой, когда я, уже зная, что больше не люблю ее и в конце концов оставлю, не решался на это по совокупности разных причин, уважительных и не очень. Там была, с одной стороны, нерешительность, инерция, а с другой – благодарность и вообще "лучшие чувства". Сколько жизненной бездарности оправдывается подобными соображениями! У нее были неприятности на работе, могли выгнать, потом она долго болела – разве можно покинуть человека в такой момент? Что? Притворялась? Может быть, а, может, и действительно заболела, почувствовав, что я ухожу.

В поисках свободы мы все тогда сделались революционерами в науке. Горели на работе, совершали открытия, а за степенями не гонялись – были выше этого. Однажды присылают нам на отзыв диссертацию нашего заклятого врага – полнейшего ничтожества, но с положением. А у нас, хотя в группе ни одного кандидата, большой авторитет, так что наш отзыв много значит. Все знакомые прогрессисты заранее потирают руки: дескать, ага, резать будем. Резать же выпадает мне. Ну, я диссертацию

прочел, действительно - ноль без палочки. Чувствовал я себя, впрочем, не очень уверенно, специалист-то я и сам был без году неделя. Выручил наш лидер и кумир, который, хотя и числился в другом месте, но всех нас научно вдохновлял и направлял. Он подготовил мне подробный отзыв, который нужно было только зачитать, и от диссертации не оставалось камня на камне.

Повторяю, человек был мерзкий, диссертация - дрянь, дело наше - правое. Но в день заседания у меня поднялась температура, чуть ли не 39°, и я едва соображал, что говорю, исполняя свою миссию. Так или иначе, мы его завалили, он не мог защититься еще несколько лет, но в моей душе эта история отпечаталась сильнейшей травмой. Я ругал себя за слабость и клялся никогда больше не поддаваться партийной дисциплине, однако вскоре опять попался.

Был конец 60-х годов, и мы ударились в так называемое подписанство. Дело это было рискованное, поэтому никто никого не заставлял, хотя, конечно, некоторое моральное давление возникало - дескать, мужчина ты или дерьмо, смотри, такой-то уже в психушке! Один раз я побоялся, второй раз вылез было, да сами друзья-подписанты удержали, рано тебе еще, защитись сначала. Ну, а в третий раз отговариваться даже перед самим собой было уже нечем, подписал. Не сразу, но все-таки начались вызовы по начальству, вопросы, угрозы, призывы назвать сообщников, попытки увольнения, в общем, обычный спектакль. Включая неожиданную кульминацию, когда за меня смело вступился дотоле осторожный коллега, и благополучную развязку - с работы не выгнали.

Спектакль был выигрышный, и я достойно вел свою партию, не сдаваясь и не пережимая, и вдруг понял, что именно это мастерское лавирование для меня невыносимо. Сценарий был как бы написан заранее: я не мог ни "предать", ни "уйти без боя", ни высказать то, что действительно я думал. То есть, последнее, конечно, не исключалось, но я понимал, что в настоящие узники совести не гожусь, да и коллеги ждут от меня не отчаянного героизма, а именно этого разыгрывания роли невинно пострадавшего Гражданина. В результате я, который терпеть не мог ни начальства, ни собраний, должен был теперь общаться исключительно с членами партбюро, хотя одерживаемые над ними тактические победы меня мало радовали, а поражения не особенно пугали.

По вашему лицу я вижу, что нужно держаться ближе к делу. Неужели вы не понимаете, что я только о деле и говорю? Ей-богу, вы как американский врач, который вежливо выслушивает жалобы пациента, но верит только анализам. Еще бы, ведь они-то и приносят главный доход! Но вы все-таки из России, хотя и учились уже здесь? Ладно, постараюсь покороче.

Действие третье. Хорошо стрепетированная эмиграция, Америка, Свобода (статуя), супермаркет, автомобиль, поездки, все кухни мира на

выбор... "Как Вы перенесли культурный шок?" - "Никакого шока. Все в точности так, как я ожидал..." - "О?!" - "...читая в Москве "Ньюсуик"! - "О! А где Вы так хорошо научились говорить по-английски?" - "В Москве". - "О! Скажите, Вы читали "Горки-парк"? Насколько правдиво изображена там советская жизнь?" - "К счастью, мой опыт общения с милицией, КГБ и преступниками был ограниченным!" - "Ха-ха-ха!!! Как Вам здесь нравится?" - "Очень нравится!"

Мне действительно нравилось, только жил я не в Америке, а в эмигрантском гетто. Мой опыт общения с полицией и преступниками, а также прочими гражданами, и здесь оставался ничтожным. Культурный шок, увы, имел место. Собственно, целых два. Первый состоял в бесконечном приспособлении, приспособлении, приспособлении ко всему американскому. Взрослым человеком, наполовину уже мертвецом, я снова пошел в первый класс. Я понимал, что отстал по всем предметам - вождению машины, пользованию ножом и вилкой, покупке недвижимости, поведению на "парти". Но усердные - и успешные - занятия в школе для переростков обрачивались невыносимой скукой. Тогда от американцев я бросался к "своим", и это был шок номер два. Почему я должен был дружить с людьми, которых раньше не пустил бы на порог? Кстати, они гораздо быстрее, чем я, адаптировались к здешней жизни, заводили бизнес, "рендowali", а вскоре и приобретали "трехбедренные" дома и "аффордали" дорогие машины. Но пробыть с ними больше трех часов в неделю я не мог. Допускаю, что они думали обо мне то же самое. Нет, я не показывал виду, боясь оттолкнуть хотя бы одного из них. Я экономно берег их на черный день. Но по сути дела я уже находился в бесповоротном одиночестве.

Еще короче? Может быть, короче нельзя. Я хочу, чтобы вы ощутили то, что ощущал я, чувствовавший себя погребенным заживо в этом лучшем из возможных миров. Я начал подумывать о самоубийстве. Особенно увлекала меня идея заплыть подальше в океан и утонуть "а ля" Мартин Иден. Я с детства любил воду, но плавать научился очень поздно, только после смерти матери, которая не подпускала меня к воде, так как мой отец утонул, когда мне не было года. С тех пор я обожаю плавать. Лучше плавания, я думаю, только полет. Поэтому финал моего излюбленного либретто сочетал полет на глайдере с последующим прыжком в воду. Напротив, автомобильная катастрофа в горах меня не устраивала - я хотел исчезнуть эффектно, но чисто и без следа, а не выставить на всеобщее обозрение свой изуродованный труп попеременно с металлоломом... Не говоря о том, что в пропасть на машине я уже однажды падал, но отделался, как говорится, легким испугом, так что от этого вида смерти считал себя застрахованным. А мне нужно было наверняка, ибо я решил поставить-таки на своем.

Уже из этих фантазий видно, что я был не готов к концу. Что-то во мне еще барахталось, набухало, мечтало. И тут появилась она. Как

там у Пушкина? "Тянулись тихо дни мои... Она явилась и зажгла..." Кстати, завязкой послужил именно мотив самоубийства. Встретились мы на приеме в честь очередного советского визитера. От нечего делать разговорились, и не помню как, разговор зашел о великих самоубийцах – Есенине, Маяковском, Цветаевой, Хемингуэе... Она обнаружила незаурядное знакомство с предметом; из соответствующей главы пастернаковской "Автобиографии" цитировала почти наизусть. С первых же слов мы поняли, что нашли друг друга. Мы немедленно сбегали с идиотской "парти", болтали и резвились, как маленькие. Следующий день, это было воскресенье, мы тоже провели вместе. Я взял напрокат небольшую яхту, и мы весь день катались по заливу. Как ребенок, спешащий поделиться с матерью своими успехами, я поведал ей о вымечтанных мной мизансценах самоубийства; она все ловила на лету и весело подбрасывала уточнения. Мы вернулись только к вечеру и с тех пор практически не расставались, хотя до полной близости дело дошло не сразу.

Боже, какая это была женщина! Она буквально пенилась радостью, и радость эта была адресована лично мне. Ее предки происходили из Франции и Польши, а выросла она в американском посольстве в Москве, так сказать, иностранкой российского разлива. Она была не первой молодости, то, что называется зрелая женщина, и это мне тоже нравилось. Несколько лет назад она перенесла тяжелую болезнь, подозревали рак, но она чудом вылечилась и стала еще больше ценить жизнь и здоровье. Полноватая брюнетка с кожей сверкающей белизны, она одевалась ярко, но с неизменным преобладанием черного и белого. Я всегда любил Ренуара, и вот под самый занавес мне вдруг так повезло.

Не знаю, помните ли вы, лет пять назад в Лос-Анджелесе была большая выставка французских импрессионистов, "День за городом", исключительно пейзажи. Проходя через один из второстепенных залов, я вдруг испытал эмоциональный толчок – мое внимание привлек морской вид, в котором я почувствовал что-то родственное. Взбитая черно-зеленая волна в оторочке пены была столь чувственна, что наводила на мысль об оборках женского платья, о бедрах, кружевах, подвязках... Я подошел посмотреть табличку с надписью – это был Ренуар! Я не знал его пейзажей, но, если подумать, кому, как не ему, было написать это импрессионистическое "Рождение Венеры" – без Венеры?! К чему я это говорю? К тому, что такой была эта женщина – как Самари, как "Обнаженная" и как эта волна.

И она любила меня. Вернее, она соглашалась меня любить при одном условии, которое сформулировала в первую же поездку на яхте: умереть вдвоем. Почетное место в ее списке самоубийц занимали имена знаменитых пар, начиная с Клейста и Генриетты Фогель и кончая сэром Артуром Кестлером и его женой. Двойное самоубийство – вот что было предложено мне этой невероятной женщиной. "Ценою жизни ночь мою..." Только не одну

ночь, а сто, и впридачу к моей жизни она, в отличие от Клеопатры, щедро швыряла свою. Сто дней и ночей – не так мало. Но и не так много. В этом и состояла идея: срок должен быть достаточно долгим, чтобы создать иллюзию целой жизни вдвоем, и достаточно кратким, чтобы ни на минуту не забывать о смерти, которая своей траурной каймой должна была облечь жизнь и вернуть ей смысл. Она дала мне три дня на обдумывание, но и в эти дни мы продолжали видеться и держаться за руки, как дети, потерявшиеся и нашедшиеся, но все еще невинные.

В случае моего отрицательного ответа нам предстояло немедленно расстаться, в случае положительного – провести оставшиеся девяносто семь дней в объятиях друг друга и в непрерывном исполнении всех мыслимых желаний. Это был страшный, но неотвратимый вызов. А что вы хотите? Жизнь, на которую я было уже махнул рукой, вновь возвращалась ко мне, только под еще более убедительный аккомпанемент смерти. Но не сам ли я накликал этот дьявольский соблазн своими вымыслами? И разве не любой платы стоило то, что я получал в обмен, не любовь даже, а главное – нешуточность, бесспорность, подлинность последнего выхода? Сомнения продолжали одолевать меня, но в глубине души я понимал, что попался, ибо просто не в силах буду отказаться от этого шанса. К исходу третьего дня (мы устроили "прощальный" обед в прибрежном ресторане с видом на закат), я объявил, что согласен. Со свойственным мне аналитическим интересом ко всевозможным непредвиденным разветвлениям сюжета, я предложил, чтобы каждый оставил записку типа "В моей смерти прошу никого не винить...", но она решительно отмела эту идею. Никаких непредвиденностей, никаких лазеек и алиби на пути к безоговорочной гибели. И еще в одном мне пришлось пойти ей навстречу – полное исчезновение не привлекало ее, смерть в ванне была бы жалким компромиссом, и мы сошлись на быстром и бесследном яде.

Ни под какими угрозами я не обнажу тех восторгов небывалого и абсолютного счастья, которыми наш смертный сговор одарил меня. Такой свирепо-счастливой любви я никогда не знал и не узнаю. Сначала мы почти не выходили из ее или моей квартиры, потом начали с бешеной жадностью завоевывать внешний мир. Мы вдруг оказались окончательно и непристойно богаты – денег у нас было больше, чем времени. Впрочем, на всякий пожарный случай, прежде чем окунуться в новую рискованную жизнь, мы взаимно завещали все, что имели, друг другу. Что мы делали? Для начала мы оба впервые в жизни прыгнули с парашютом. Потом съездили в Россию, побродили по местам, где в детстве одновременно бывали врозь. В Ялте отстали от группы и на несколько дней потерялись в Крыму. Все это были в основном мои давние мечты, которые она рада была со мной разделить. Так, в Амстердаме мы долго гуляли по кварталу красных фонарей, любуясь знаменитыми окнами проституток, наконец, выбрали высокую блондинку в кожаных сапогах выше колен, максимально похожую на

ту, с книгой, о которой я мечтал на этих же улочках десять лет назад, и провели с ней два часа перед ужином.

Интересно, что мы совершенно не ходили в кино, театры, музеи. Мы играли собственную последнюю драму и в суррогатах не нуждались. Прав философ, сказавший, что поэзия это скоропись духа, диктуемая близостью смерти, но у нас уже была своя собственная поэзия, свой собственный "данс макабр". Однажды ночью на римском форуме, куда мы проникли после закрытия, к нам пристал то ли нищий, то ли грабитель. На меня нашло какое-то остервенелое затмение, и я, не успев подумать, что делаю, ударил его ногой в пах. Совершилось то, о чем я, видимо, бессознательно мечтал всю жизнь, — он упал, я ударил его еще раз, в висок, и он больше не пикнул. Убил ли я его, я не знаю, для полицейской хроники это сущая мелочь, да и вообще на другой день мы были уже далеко, но я, наконец, почувствовал себя человеком. Я действовал вне страха, разума, выбора и был счастлив.

Между тем, отмеренный нами самими срок подходил к концу. Кольцо сжималось, обостряя до слез наслаждение каждым эпизодом, объятием, мгновением. Последнюю ночь, по ее замыслу, мы должны были провести у меня, и, приняв яд, провоцирующий разрыв сердца, умереть посреди любовных объятий. Все шло, как по маслу. Выпив вина, но пока что отдавая роковой глоток, с глазами, расширенными от счастья и слез, мы целовались в постели под мою любимую "Ла Фолиа" Джеминиани, когда в действие вмешалось нечто непредусмотренное. Пол гостиной, которая располагалась прямо над спальней, заскрипел от осторожных шагов. Мы сначала не замечали этого, потом услышали, переглянулись и замерли, не зная, что делать. Вор? Пусть берет что угодно. Но где гарантия, что он не спустится вниз? Привыкнув за последнее время не отступать ни перед чем, я решил пойти навстречу опасности. Я накинул халат, приоткрыл дверь наверх и сразу же услышал пронзительный визг сирены, перекрывавший чей-то голос, который с промежутками, как автомат, повторял "Хэлло! Есть кто-нибудь? Хэлло! Есть кто-нибудь?.."

Я мгновенно догадался, что произошло. Забытый на газу кофе убежал, кофеварка выкипела, пригорела, и дым привел в действие пожарную сигнализацию, которая, однако, надрывалась напрасно, ибо, закрывшись в спальне и громко пустив стерео, мы не видели и не слышали ничего, загипнотизированные надвинувшейся развязкой. Наш бдительный мэнеджер сначала долго звонил в дверь, потом открыл ее собственным ключом и теперь гасил газ. Я вышел как раз вовремя — еще минута, и он, движимый самыми благородными побуждениями, счел бы своим долгом спуститься в спальню. Приняв смущенный вид и объяснив, что я вздремнул под музыку, я извинился, поблагодарил его за своевременную помощь, снова извинился, спасибо, сорри, бай-бай, спокойной ночи.

Он ушел, я с облегчением перевел дух, стал машинально прибираться

на плите, открыл окна, чтобы проветрить. Сигнализация еще некоторое время посвистела и затихла. Я поймал себя на том, что не тороплюсь возвращаться в спальню. В любом случае, сегодняшняя премьера отменялась. Укрепившись в этой мысли, я, наконец, решился спуститься вниз. Я вошел в спальню, на ходу сбрасывая халат, с несколько преувеличенной страстностью бросился к ней и... понял, что отстаивать свое решение мне уже не перед кем. Дальше ничего не помню, помню только, что пластинка играла и играла без конца... в остальном полнейший провал. Как вы знаете, весь прошедший с тех пор месяц я провел в состоянии клинического шока...

- Тело вашей знакомой, - заговорил адвокат, - было обнаружено у нее на квартире две недели спустя, когда запах гниения привлек внимание соседей... Менеджер вашего дома показал, что в тот вечер вы вели себя очень неестественно, но он не придал этому значения, решив, что вы просто хотели скрыть, что у вас дама. Ваша соседка видела в глазок двери, что вскоре после инцидента с сиреной вы вышли на площадку в обнимку с женщиной, странно пошатываясь. Она хотела приоткрыть дверь, чтобы посмотреть вам вслед, но что-то ее остановило. На вопросы о взаиморасположении ваших тел она дала ответы, совместимые с гипотезой следователя, что вы перенесли труп в машину и отвезли его на квартиру покойной. Следствие было возбуждено, когда было вскрыто ее завещание. Как вы все это объясняете?

- Повторяю, что я ничего не помню с того момента, как вошел в спальню и обнял ее в буквальном смысле слова холодеющее тело. Могу только вслух поразмышлять вместе с вами, пользуясь тем преимуществом, что хорошо знаю себя изнутри; зато вы наверняка гораздо лучше знакомы с подобными сюжетами. Я бы реконструировал собственное поведение так. Убедившись, что она мертва, я впал в эмоциональную прострацию, но мой мозг продолжал подспудно работать, оценивая положение. Скорее всего, она приняла яд, не дожидаясь моего возвращения, чтобы поставить меня перед совершившимся фактом, шестым чувством поняв, что я могу заколебаться. Все объективные обстоятельства были против меня - труп в спальне, недавний визит свидетеля, не говоря уже о моральной обязанности последовать за нею. Но именно неумолимость этой логики могла вызвать противодействие. Теперь или никогда я мог доказать себе, что действую по своей воле, а не под диктовку внешних сил. И это был поистине вопрос жизни и смерти - жизни стоя или смерти на коленях. Увы, ирония судьбы в том, что даже делая свободный выбор, я оказался слишком подавлен случившимся, чтобы просто позвонить в полицию и, как здесь говорят, посмотреть музыке в лицо. Замечая следы, я прибег к инсценировке, притворству, отгораживанию от реальности... Потеряв эту женщину, я опять оказался тем слабым человеком, каким был раньше. Но убийцей...

- Вы говорите это с такой безапелляционностью, как будто вы

излагаете факты. А между тем, вы признаете, что ничего не помните и лишь толкуете предьявленные улики. Но и улики, и ваши собственные показания, все это допускает и иную, не столь вегетерианскую интерпретацию, и, поверьте, что в конце концов от обвинения и присяжных не ускользнет ни одна из этих возможностей. Чтобы защищать вас, мне необходимо полное владение фактами.

- Но я же рассказал вам всю правду! Понимаете ли вы, что представляя меня сверхчеловеком, который убил самое дорогое ему существо, чтобы жить долго и счастливо, вы одновременно и оскорбляете меня, и необычайно мне льстите!

Адвокат слушал с вниманием, даже с интересом, но как-то отвлеченно. Он знал, что слышит все это не в последний раз. Взгляд его блуждал по лицу и фигуре говорящего, по комнате, через окно вылетал на улицу и снова, как бы извиняясь, возвращался к губам, из которых красноречивым потоком лилась эта исповедь. Верил ли он тому, что слышал, он не знал, и если бы его спросили напрямик, возможно, признал бы, что и не задается подобными тонкостями. Единственный настоящий вопрос был: годится ли эта история для защиты - можно ли ее скормить присяжным, и на него он со всей серьезностью давно ответил себе, что ни под каким соусом.

"Подписанство, эмиграция, русская рулетка... Слишком много экзотики. Надо будет придумать что-нибудь другое, еще неясно, что, но другое. Что он там говорил про ее здоровье? Не забыть раскопать историю ее болезни. Например, она могла быть неизлучимо больна и отвести ему роль погребальной жертвы, добровольно, ничего не ведая, идущей на заклатие... Еще проверить, нет ли у нее наследников, какого-нибудь там любимого, но обездоленного сына от первого брака, которому теперь достанется все... Кроме того, попробовать..."

Однако, своим чутьем молодого, но уже опытного адвоката, он догадывался, что в этом случае его изобретательность не обязательно возьмет верх, что на суде вновь упрямо зазвучит, а затем под перекрестным опросом станет непредсказуемо меняться только что услышанная версия, что обеим редакциям предстоит еще долго оттачиваться в ходе апелляции, пока они, взаимно переплетаясь, как в причудливой фуге, не отольются, наконец, в окончательную бронзу на прогулках смертников, и одному богу известно, какой свет бросит на нее этот столь изощренный, но и наивный выдумщик в своем последнем телевизионном интервью.

Игорь ЯРКЕВИЧ

ТИРАНЫ И САТРАПЫ

Как я люблю их, сырых, замученных, приезжающих в Москву за ветчиной и за правдой, – да пошли они все кто куда может! Терпение мое лопнуло, силы мои на исходе! Вот именно – кто куда может!

Люблю писать о лагере. Там страшно, там насилуют через задний проход. В жизни нашей мещанской тоже могут сделать это случайно, или за деньги, или если полюбишь, или очень попросишь. А там это сделают обязательно, бесплатно и независимо от того, любишь или не любишь, просишь или не просишь.

Я в лагерях не бывал, но сильно чувствую. Ведь через них прошли все честные люди! А вообще это традиция нашей литературы – писать о том, чего не знаешь, но сильно чувствуешь.

Я – писатель, то есть поэт. А поэт, как мне кажется, не читатель. Он слушатель. Я люблю слушать революционные песни.

Я думал, что во сне буду беседовать с ангелами, на худой конец – с Пушкиным, Байроном, Гете и другими великими поэтами-освободителями. Но нет – ко мне в сны стали приходить Красин, Минский, Кржижановский, Шкулев... Я сначала огорчился, и понятно почему – негоже левому поэту видеть такие сны; но потом даже обрадовался. В конце концов, они тоже освободители, но только от другого. И тоже поэты с собственной, ни с кого не скопированной судьбой.

А у дверей дома, где я живу, стоит глубоко несчастный, оборванный, вечно страшный старик – и жалобно так смотрит. Наверное, жрать хочет, проказная рожа. А к поэзии глухой. Ничего, я сам был такой, пока не услышал строчку: "Скажи-ка, дядя, ведь недаром..." Конечно, не даром. Поэтому, когда в следующем квартале выйдет моя книжка, обязательно подарю ее старику, с автографом.

А на Руси много зла. Но про все не напишешь. Не напишешь – не опубликуешь. Не опубликуешь – денег не получишь. Ну, так и бог с ним, с неопианным злом.

Как я хотел стать поэтом! Как я мечтал об этом святом ремесле! Каким я был чистым и глупым! И как я страдал от того, что был главарем уличной банды... И когда я с робкой улыбкой, измученной душой и первыми стихами пришел к большому поэту, известному своими убеждениями, то он сразу сказал мне, потупившемуся и раскрасневшемуся с мороза, что поэзия – дело волчье, а иногда даже и собачье; потому что приходится распутывать козни властей и врагов. Очарованный, я тогда как на духу рассказал ему о бесчинствах нашей банды, о сумочке, вырванной из рук опрятной старушки, о ее поруганной внучке – и тогда он посмотрел на

меня, явно заинтересованный, и сказал: "Ты подходишь для поэзии, сынок. Благословляю".

Конечно, можно было бы позвать этого старика, руки-ноги обмыть, триласкать, обогреть, достать для него бабу - а вдруг он следит за мной поставлен? Если замерзнет к утру - значит, все в порядке! Не поставлен! Поставленные - не замерзают!

А прав ли был Достоевский, когда повторил, что "Пушкин - наше все"? А как же тогда сам Достоевский? Разве он наше не все?! Теперь-то я понял... Пушкин наше, но не совсем все. Вот Пушкин и Достоевский - это уже действительно полностью наше все! Твою мать, не лезут Лермонтов, Гоголь и Толстой, которые ведь тоже наше и тоже все. Пойти, что ли, вынести старику стакан чая? Хотя он может быть заразным на три поколения вперед; не стоит.

Я понял: его привела ко мне еврейка-активистка из соседнего подъезда. Тайно влюбленная в меня, она постоянно делает мне гадости, как все влюбленные еврейки. Разумеется, антисемитизм - гадство от начала до конца; а вдруг они на самом деле в чем-нибудь виноваты как нация? Но я ставлю пластинку с революционными песнями, и они убеждают меня - нет, не виноваты!

Этот старик уже лет двадцать ходит за мной. Иногда я звоню, его забирают, потом через годы он снова приходит... А вот если бы Лермонтов был на месте Пушкина, он бы точно вышел на Сенатскую площадь со своими друзьями, и никакой поп ему бы не помешал. "Церковь божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долговечного гнезда". Хороша эпиграммка на реакционное духовенство? Демократическое духовенство - другое дело... И я бы вышел как Лермонтов.

Кстати, не так давно я понял, что где все так все - в революционной поэзии. Как славно морщатся эстеты, когда я им в лицо бросаю эту мысль! Пойду сейчас и вынесу старику молока и хлеба, и будет он, сука, за угощение мое петь мне все известные революционные песни. А не будет - еду отдам коту; его тоже надо когда-нибудь кормить.

И тут начинает мерещиться страшное: вот он я, то большой, грузный и лохматый, то с волевым лицом и короткой стрижкой, то среднего роста с аккуратно зачесанными назад седыми волосами, в зависимости от температуры, которую показывает барометр общественной жизни, но всегда, как мечтал великий революционный поэт, хороший и разный, выхожу на улицу и пинаю ногой большую ледяную глыбку, лежащую поперек входа в подъезд... Страшное отступает. Поэтому я заранее все прощаю ему и себе.

Поэзия и общественная жизнь - единое целое, близнецы-братья, потому что там и там одно главное: быть честным человеком. Давайте что-то делать, но неизвестно что. Нет, давайте делать то, что неизвестно, но то. Чистое и свежее слово, отороченное всенародной болью и собственной выстраданной правдой - вот моя Америка. Был бы я женщиной, как в

известном стихотворении: "Небо – колокол, месяц – язык, мать моя – женщина, я – большевик", – я бы его точно приютил. Хотя мне уже теперь все равно. Потому что когда легковверен и молод я был, младую гречанку я очень любил, а она меня заразила сифилисом, которым ее наградила коварный армянин. С тех пор желания остыли, огонь в душе моей погас, и когда мы встречаемся среди шумного бала нашей проклятой, но отмеченной высокой классики светом жизни, то зла никакого друг на друга не держим. Потому что вылечились давно.

А вот если бы Толстой был Достоевским, его бы помиловали или нет за участие в свободолюбивом кружке? А если бы Достоевский был Толстым, то как бы он вел себя в обложенном Севастополе? Геройски или незаметно? Одно знаю – из Ясной Поляны он бы не ушел, жену бы не оставил. Не такой он был человек, этот Достоевский!

Свобода... Россия... Вспоминается антураж первого прихода музы – ночь, улица, фонарь, бутылка. А вокруг идет мент. И глядя на него, захотелось всех удавить. С тех пор это чувство и стало доминантой моей поэзии. Но порой оно, чувство это, оборачивается желанием всех любить. А потом снова – удавить. И так без конца.

И вот я написал стих, в типичном для себя стиле – идет по улице человек, ему холодно, а его преследует Кремль за то, что он человек, и за то, что холодно... Я думал, меня расстреляют, но этот стих положили на музыку, стали исполнять по радио, народной песней не стало, революционной тоже, но многие любят. Я часто заставлял моего старика петь эту песню, но он врал мелодию, забывал слова, и совесть поэта не давала мне его накормить.

Мне ведь главное, чтобы человек был хороший, как Достоевский, как революционная песня, чтобы земля не дрожала под тяжестью грехов, чтобы чистая совесть, а тогда все можно простить, как Достоевскому, как революционной песне; я вот всегда говорю молодым: чтобы не бояться властей и врагов, надо любить и ценить революционную песню.

Но вдруг меня обуяла противоестественная, то есть платоническая, любовь к мартышке-хромоножке из Калининградского зоопарка.

Поскольку я занимаюсь литературой, у меня накопилось много наблюдений над жизнью. Например, зимой на улице встречается меньше народу, чем летом, потому что зимой холодно, а летом тепло; а если бы летом было холодно, а зимой тепло, то и результат с количеством людей был бы прямо противоположным.

Любовь к мартышке навеки поселила в моем сердце революционную песню. Помню бессонную ночь, когда моя маленькая выстукивала по прутьям клетки "Беснуйтесь, тираны!" На следующий день я подошел к райкому, закричал: "Сатрапы!" – и затянул: "Беснуйтесь, тираны!"

Дело было громкое. Мою маленькую привлекли свидетелем. И я, и она вели себя достойно. Я сразу заявил, что "Беснуйтесь, тираны", "Бесы"

и "Бородино" - мои стихи, и никого я не боюсь. Меня положили в психиатрическую больницу, якобы за ненормальность, но всему человечеству было понятно за что: за политику!

Меня, как ни странно, вылечили, я давно вышел, печатаюсь, ко мне ходит молодой поэт. Если мне его стихи не нравятся, или настроение плохое - я заставляю его таскать кирпичи. И он носит взад-вперед две большие, плотно уложенные сумки.

Теперь он окреп, кирпичами его не удивишь. Сейчас, когда я вижу, что в его стихах нет чистоты и стремления к ясности и правде, я заставляю его сосать. Мне кажется, ему полюбили сосать, и он нарочно приносит мне стихи про грязь и вонь. Если так пойдет дальше, то хватит сосать, буду его пороть.

Отдам-ка старику рваный носок. Эстеты скажут: подумаешь, рваный носок. А вдруг у старика есть уже один рваный носок, а вместе с моим, особенно, если сердобольный или группа сердобольных заштопает, будет у него пара. Целая. А молодой поэт теперь уже точно не будет сосать.

Я один раз был в библиотеке, старое такое здание, деньги занимал у мужика знакомого, он там работал, зашли в хранилище - я ужаснулся. Неужели это все кто-нибудь читает?! Да пошли они на все, и книги, и писатели - на ...! Как и те, несчастные, сырые и запыленные, что приезжают в Москву за колбасой и вообще.

Но и меня не обошла всеобщая любовь к культурологии. Люблю портреты разных эпох, где нарисованы такие же нормально сексуально озабоченные люди, как и мы.

С литературными друзьями и редкциями отношения у меня, в принципе, нормальные. Постоянно думаю: кастрировать их и удавить, а, может быть, сначала удавить, а потом кастрировать; или просто удавить, или только кастрировать?

А вот пить боюсь. Так-то я точно знаю - я не то левый, не то радикал; а вот когда выпиваю - путаюсь: то ли я радикал, то ли левый. Кстати, то же самое и с Богом - то он есть, то его нет, то промежуточное что-то. Особенно сильно действует культ безмятежного фаллоса; тут поневоле люблю троицу забудешь.

Но все равно - иди ко мне, Господи, потому что мне хорошо, а за чем Тебе быть там, где плохо, Господи! Особенно сейчас, когда страна наконец-то открыла в должной мере Платонова, Васко де Гама, Абрама, Ивана, Ахматову, Фому Аквинского, Адама, Еву, меня, - она просто не может духовно не измениться. И мои стихи в этом плане - не последнее дело, ведь я шел к этому годами борьбы, я хочу создавать у читателя такие ощущения, чтобы душа пела, чтобы ...твою мать! чтобы струна звенела, и мы шли бы через тюрьмы, лагеря, ссылки - к чистоте, правде и нравственности.

А когда-нибудь мы все вместе - я, которому больше нечего терять,

поскольку он потерял свою маленькую девочку из Калининградского зоопарка, моя маленькая девочка из Калининградского зоопарка, тень учителя, молодой поэт, который абсолютно точно никогда уже не будет сосать, старик, которому я абсолютно точно отдам носок, пусть рваный, зато носок, Пушкин, Лермонтов, другие великие поэты-освободители - встанем и запоем на поэтическом вечере:

"Беснуйтесь, товарищи, в ногу,
Тираны, укрепим в борьбе..."

И это будет наше последнее и единственное все.
Пора работать, пора писать стихи.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Особенно нам нравились три поэмы: "Дальняя дорога", "Крокодиловы слезы", "Борис Пастернак".

Нет, она меня любила не за то, что я еврей; за мою сексуальную чуткость она меня любила. Ну, во-первых, я никогда не делал ей больно. Зачем? Жизнь итак тяжелое испытание, так еще и в постели женщине мучаться?! Во-вторых, я ее практически никогда не бил, разве что иногда, и то - не сильно... В третьих, мне нравилась тема ее диссертации, и она знала, что я ценю ее как творческую личность, а не только как дырку!

Я подобрал ее на улице. Что-то плохо шли дела у нее в этот вечер, никак она никого снять не могла; я подошел к ней и сразу сказал: "Ты знаешь, любовью можно заниматься только ради любви, а деньги - дело десятое". Она изумилась: "Не может быть!", но сразу мне поверила. Я не обманул ее ожиданий.

С этого момента у нее появился один постоянный клиент - я, вернее, не я, а моя сексуальная чуткость. Она бросила панель, вернулась в аспирантуру и снова стала заниматься своей темой. Но ее бесила моя индифферентность к русско-еврейскому вопросу. Она твердила, что ей было бы значительно легче, придерживайся я хоть какой-нибудь позиции в этом вопросе. "А если тебе в автобусе крикнут - еврей! ты обидишься?" - постоянно спрашивала она. "Как же можно обижаться на правду?" - недоумевал я. Говорить больше было не о чем, и она занимала исходную позицию в "Пастернаке".

Потом, уставшие, мы снова возвращались к ее теме. Она мне рассказывала о Милакове, о Гучкове, о Керенском, и все они вставали передо мной как живые. "Если будет мальчик, назовем его Февраль", - думал я.

"А почему ты так не любишь евреев?" - спросил я ее однажды. "А зачем они погубили дело моей жизни - Временное правительство?!" - ответила она; кстати, чисто по-еврейски: вопросом на вопрос. "Они так

больше никогда не будут", - пытался я заступиться за своих соплеменников, впрочем, чисто формально.

Пришла осень, принесла облетевшие листья и серые дожди, и наступил долгий период "Дальней дороги". Я аккуратно снимал с нее колготки, одновременно массируя ее застоявшуюся задницу и скользкие бедра; она проверяла мою главную эрогенную зону и две запасных. По обычаю мы присаживались на дорожку: я на диван, она - на меня, и - поехали! Куда же нам без первого космонавта!

На середине "Дальней дороги" мы меняли поперечное положение на продольное. Умело доводили друг друга до изнеможения. Обессиленная, она шептала: "Двоевласти... Корнилов..." Я заканчивал, не спеша и со вкусом, она выдыхала: "Октябрь..." - вставала, мылась и садилась к столу. Я хотел еще, мне было мало, "Дальняя дорога" звала и манила, но она царапалась и кусалась, когда я тащил ее обратно на диван. "Меня ждут люди", - она показывала на свои черновики; ничего поделать было нельзя, февральские господа стояли между нами!

Проклятая политика отнимала у меня любимую! "Или та, или эта", - решил я, и, разумеется, сделал выбор в пользу этой. Мне хотелось уничтожить ее тему, этих господ из февраля; я решил сжечь ее диссертацию! Надо было спасти любовь! Но потом махнул на все рукой; пусть идет как идет...

Мы сидели в кафе, пили чашку за чашкой гнусный московский кофе, разлили под столом портвейн, она спросила: "Ты хотел бы иметь групповой портрет Временного правительства с моей дарственной надписью?" Я поперхнулся, немножко подавился портвейном, и мы пошли гулять; только мне еще пришлось вытереть столик в кафе и застирать на себе брюки - все было в следах портвейна. Пустую бутылку мы оставили уборщице, чтобы не орала.

Обошли центр, отправились в один из новых районов. Москвичи - идиоты, в последнее время я начинал тяготиться жизнью в первопрестольной. Новыми москвичи называют районы, построенные после 1721 года, хотя за последние сто лет в этих районах не было построено ни одного туалета.

Раньше я любил московские сумерки, они казались мне романтичными и многозначительными. Запахи помойки и тухлого мяса, летящие из многочисленных столовых, заставляли сильнее биться сердце. Вид спившихся стариков и дебильной молодежи радовал глаз и волновал душу. Ах, бульварное кольцо... Огромные деревья, треснувшие лавочки, непонятной породы собаки, одинокие люди, изнемогающие под коммунистическим ярмом... А знаменитый центр Москвы? Три десятка улиц, заполненных гниющими развалинами, ничего уже не говорящих о былой (если была, если не врут, проверить уже невозможно) роскоши... Теперь все это, раньше умилявшее, казалось мне скучным и неинтересным, как использованная вата. Ляжки и

подмышки любимой Вари, ее носки и лифчики – вот что теперь волновало меня, и только это! "Ты изменился!" – говорили мне друзья, явно завидя.

Она задумалась. "О чем ты думаешь, Варя? О князе Львове?" – "Нет, я писать хочу!". О, бедная моя, в Москве можно многое сделать – что-нибудь купить, кого-нибудь продать, получить квартиру, поймать такси, толпу у посольства увидеть, стать шизофреником с большой буквы, но вот найти туалет... Моя любовь Варя пошла в подворотню, я стоял на страже и близко не подпускал случайных прохожих.

Погоуляв, пришли домой. Сегодня была очередь "Крокодиловых слез". Положение хрестоматийное, но одновременно вставляешь палец партнеру в анальное отверстие и медленно продвигаешь палец дальше. Партнер (партнерша) испытывает муки радости от гипертрофированного удовольствия, при этом текут слезы как бы от боли.

Потом она снова вернулась к своей теме.

Я попытался отвлечь ее разговором о русских мальчиках, о том, как они сейчас выглядят в пространстве. Если раньше мальчики собирались в кабаках и обсуждали проклятые вопросы, то сейчас мальчики посмотрели друг на друга, поняли, что они красивы, разлюбили вопросы, но зато полюбили друг друга. Навсегда, до гробовой доски. Теперь русские мальчики не интересуются ни какими вопросами, теперь они е... друг друга!

Но ей были безразличны судьбы русских мальчиков, только дяди из Временного правительства улыбались мне из ее глаз.

К разрыву шло дело. Меня уже не возбуждали ни ее длинные стройные полные ноги, ни ее разметавшиеся высокие полные груди, ни ее ласковые зубы, ни ее честная талия... То есть, возбуждали, конечно, но я мгновенно угасал, едва она вспоминала о февральско-октябрьской номенклатуре.

Она любила меня, мучилась, но ушла! Ушла Варя к аспиранту Ване! Ваня ее любил, и тему ее любил, и в русско-еврейском вопросе он поочередно занимал то одну, то другую сторону. Когда Варя ушла, я, разумеется, ее снова полюбил, все меня в ней возбуждало с неведомой ранее силой, но было уже поздно, назад дороги не было, и мне оставалось только мучиться, как этому, мать его, Керенскому, что ли, когда он потерял Россию.

Я нашел для себя, куда ткнуть, но какой это был ужас! То, что у нее называлось грудью, весьма относительно напоминало грудь. С другими частями тела ситуация была та же. Ни о каком минете не могло быть и речи! Она знала единственную позу: "Бревно, чудом выброшенное на берег во время лесосплава и уснувшее навсегда". А Варя стала регулярно присылать мне фотографии, где она обнаженная – то одна, то с Ваней. Мстила, наверно!

Я дошел. Спиртное, женщины и книги перестали привлекать меня

окончательно. Картины, кинофильмы и всякие другие предметы искусства уже не занимали мое расстроенное воображение, которому во всех темных углах мерещились Варя в позе и февральские рожи. Даже смена режимов в родной стране меня мало интересовала.

Потом я попал в горячие лапы онанизма, но ненадолго. Потом я возненавидел все русское - русскую речь, русские книги, русских людей, русские слезы, русские гениталии и русскую надежду. Не прошло и двух дней, как я возненавидел все еврейское, и даже феномен еврейского эста-тизма уже не вдохновлял.

И тут я случайно такое услышал за спиной:

- Временное правительство - вот идеал демократического правления!
- Я вспомнил потерянную любовь, не выдержал, повернулся и сказал:
- Знаете что, господа, - е... я ваше Временное правительство!"

ДВА ПИСАТЕЛЯ

Вот - американский писатель. Он любит жизнь и вообще славный, а русский писатель злой и жизни терпеть не может, потому что она с самого начала отнеслась к нему скверно.

Вот - американский писатель. Он только что трахнул служанку. Это еще ничего, ему надо спасибо сказать, что он не трахнул жену, вторую служанку, слугу и собачку. Он может, потому что американские писатели только это и делают, а ничего другого они и знать не хотят. Русский писатель не такой, русского писателя трахают постоянно другие, так как он беспомощный, и никакой защиты от судеб у него нет. Поэтому как только взглянут на русского писателя, то сразу понимают, что он совсем неповоротливый, как ежик, и тут же начинают безнаказанно его обижать. И унижать. С американским писателем так не поступают, ведь он сам кого угодно трахнет, а с русским писателем, конечно, все можно.

Вот - американский писатель. Он добр, и мягок, беспечен, прекрасно выглядит, хорошо воспитан, у него есть деньги. Русский же писатель всегда похож на ежика, которого только что вые..., причем все сразу, притом неизвестно за что. Он бессердечен, жесток, озабочен, опять не выспался; воспитан-то он воспитан, но лучше бы его вовсе не воспитывали. Денег у русского писателя нет, зачем они ему, он выше их, но если они у него даже и есть, то лучше бы их у него и не было, потому что русский писатель с деньгами ведет себя еще гнуснее, чем русский писатель без денег.

Если американский писатель собирается кого-нибудь угостить, то он говорит: "Деньги есть!" - то есть, у американского писателя есть деньги, чтобы угощать. Когда русский писатель собирается кого-нибудь угостить, то он спрашивает: "Деньги есть?" - то есть, у русского писателя

нет денег, чтобы угощать, и теперь вся надежда на того, кого русский писатель собирался угостить.

Русскому писателю постоянно стыдно за те гадости, которые он сделал вчера – зарезался, зарезал, напился, украл, сам не помнит... Американский писатель спокоен – вчера он только кого-то трахнул, да и то по взаимному согласию.

Как-то раз американский писатель встретил несчастного ребенка. Американский писатель сразу дал несчастному ребенку гречневой каши и кока-колы, затем помыл, обогрел и одел, снова накормил и устроил за свой счет в престижный колледж.

Как-то раз и русский писатель встретил несчастного ребенка. Ребенок громко плакал. Русский писатель долго объяснял ему, почему все благополучие мира не стоит одной слезы ребенка, затем отнял у него единственную игрушку и выгнал ночью на мороз в чужой незнакомый город.

Однажды один симпатичный юноша познакомился с русским писателем, так русский писатель сразу напугал юношу, затем избил и отобрал у него все деньги, якобы для того, чтобы водку купить, и пропал навсегда. А потом юноша познакомился с американским писателем, и тот пригласил юношу к себе в отличный номер, где они всего лишь приятно провели время.

Одна милая девушка случайно познакомилась с американским писателем, и он подарил ей цветы, варежки и часы. А потом она познакомилась с русским писателем, который ей ничего не дарил, но зато все время тащил в постель и каялся в том, что совершенно напрасно избил одного симпатичного юношу.

В один прекрасный день пожилая семейная пара пригласила американского писателя на прием, и все гости были очарованы и покорены изысканными манерами и глубокими познаниями американского писателя. На прощание американский писатель подарил всем по книжке американской литературы.

Та же самая пара пригласила на прием и русского писателя. И что же? Русский писатель вел себя отвратительно, за столом чавкал, потом сморкался в скатерть, плевал в пол, ковырял в зубах, весь портвейн из рюмок слил к себе в стакан и сам его выпил, а на прощание требовал от гостей купить по книжке русской литературы.

Американский писатель – циник и позер, слово "дерьмо" не сходит с его губ, но в глубине души он убежден, что красота спасет мир.

Русский писатель на каждом углу твердит, что красота спасет мир или уже спасла... Но когда русский писатель приходит домой и включает электрическую плиту или зажигает газовую конфорку, то для него мир – большое сплошное г... .

Американский писатель постоянно в тонком аромате хороших вещей: одеколона, коньяка, греха... От русского писателя пахнет котельной,

мусоропроводом и несостоявшейся поллюцией.

Русский писатель – трус и доносчик. Американский писатель – отважен и смел, его ничем не испугать, он культурист и правдолюб.

Русский писатель коллекционирует справки по месту работы, американский писатель – таитянок и ювелирные украшения в форме черепаховых панцирей.

Американский писатель каждый день моет раковину и тщательно следит за порядком в доме. Русский писатель забыл, когда он в последний раз убирал постель.

Американский писатель очень любит свою семью. Русский писатель уже убил двух своих жен и, по слухам, собирается сделать то же самое с третьей. На детях русского писателя живого места нет, потому что он бьет их каждый день чернильницей и грозит мясорубкой.

У американского писателя две любовницы – манекенщица и журналистка. У русского писателя тоже есть любовница – собака Мурзик.

Американский писатель – умница, русский писатель – кретин в пятом поколении.

Американский писатель скачет на "мерседесе" в рай, русский писатель трясется на перекладных прямо в ад и еще кряхтит, что путь слишком долгий.

Американский писатель необычайно красив лицом, русский писатель весь в прыщах и занозах.

Американский писатель – богобоязненный и глубоко верующий человек. Русский писатель из Библии помнит только одну фразу: "Весна красна".

Американский писатель чист перед людьми как на духу. За русским писателем еще с колыбели тянется вереница кровавых следов и поступков.

Американский писатель вводит член во влагалище легко и быстро, русский писатель долго и с трудом, нанося болезненные повреждения.

Американский писатель как-то раз гулял со своими друзьями по цветущему весеннему саду, где все общество наслаждалось плавно текущей беседой. Потом все отправились в ресторан и там тоже наслаждались.

Русский писатель как-то раз стоял со своими друзьями в подворотне, где уверял, что ему якобы вчера заплатили гонорар в размере тысячи рублей ни за что, просто так – из уважения к его таланту. После чего все отправились нюхать клей и закусывать сухарями.

У американского писателя отличная память. Русский писатель давно все забыл.

Американский писатель умрет у себя дома в окружении родных и близких, с видом хорошо потрудившегося человека. Вся Америка будет два дня рыдать и чахнуть у его гроба. Траурные ленточки на приспущенных флагах, скорбные лица, усиленные наряды полиции – такие вот будут декорации его ухода.

Русский писатель подохнет под забором в грязной канаве, в обнимку с крысой. В этот момент вся Россия вздохнет облегченно.

Но... И еще раз но... Пускай русский писатель уродлив и его всякий обидеть может! Не этим он берет и привлекает, а совсем другим - своими персонажами, которые любят добро, а зло ненавидят, потому что персонажи русского писателя не могут любить зло. Стоит такому персонажу увидеть зло, как он моментально подбегает к злу со всех сторон, хватается за уши и титьки и начинает доить. Злу некуда деваться, и оно исчезает. Русские писатели уже практически очистили мир от зла, поэтому американские писатели вынуждены розыскивать его в самых тайных закоулках, чуть ли не с лупой.

Тут самое интересное. Персонажи американских писателей абсолютно несексуальны, живых гениталий никогда в лицо не видели, а если и видели, то ничего не поняли, а если и поняли, то только в плане осуществления демократических свобод. Для американских лирических героев половой орган не представляет ни малейшего интереса, поскольку совершенно бесполезен в борьбе за права человека.

То ли дело персонажи русских писателей! Для них "х.." - это "х.."; "п...." - это "п....", потому что русские писатели принимают мир во всей его сложности и - боже мой! - они рады этому миру! У русских писателей во всех романах, повестях, рассказах и газетных заметках есть голое тело. А мат?! О, русский писатель не может без мата, он с ним ложится и встает. Русский писатель никогда не боялся вставить в ткань своего повествования слово "жопа", а вот американский писатель при слове "жопа" десять раз содрогнется, потом напишет наконец, а в последний момент испугается и исправит - "сюртук".

В этом и парадокс - раскованный в жизни американский писатель в своих книгах напоминает сейф, затегнутый на все пуговицы и покрытый сверху черным одеялом.

То ли дело русский писатель! Пусть он жалок и смешон наяву, но зато какая прелесть его книги!

Как пишет американский писатель? Плохо. Вот так, например, американский писатель рассказывает о поездке в горы - я ехал в горах, и скользкая извилистая дорога звала меня вперед и вперед, к вершинам демократии.

А русский писатель никогда себе такого не позволит, русский писатель вот как напишет: горная дорога, отдохни немного, Лермонтов, Гете, Германия, Италия, Пизанская башня... Господи, дай мне силы, и она никогда не упадет! Потому что русский писатель про поток сознания читал и про метафору, и Джойса он читал, и постмодернизм он видел в гробу под Кремлевской стеной, потому что русскому писателю все это уже неинтересно.

А вот американский писатель ничего этого не знает, он только

"Хижину дяди Тома" читал, и то - не до конца, ему не до того, конечно, он все это время кого-то трахал, а вот русский писатель обязан много читать, потому что с ним никто ничего не хочет; даже дети, животные и трактористы обходят его стороной.

И про постмодернизм американский писатель ничего не знает. Ну, может быть, про модернизм ему еще и рассказали что-нибудь русские писатели по "Голосу Америки", а вот про пост-американскому писателю откуда знать?

Вообще, если свести американского писателя и русского, то скорее всего, американский писатель одерет русского писателя, но русский писатель будет точно сильнее литературно. Заключайте пари, господа, и делайте ваши ставки!

Вот два романа.

Первый - американский. Называется: "Как один мулат сразу девять негров обманул". Роман, разумеется, о национальных проблемах, ведь все американские писатели (а все они или негры, или мулаты) пишут только об этом.

В большом негритянском поселке мулат только один. В конце романа негры хватают мулата и собираются сделать ему обрезание, чтобы он ничем не отличался от негров. И вот, когда нож уже занесен, и вода доведена до кипения, выясняется, что мулату уже сделали обрезание, давным-давно. Негры сгорают со стыда и проваливаются сквозь землю; мулат торжествует.

Откроем обычный русский роман. Женщина (почти девушка) никак не может найти себе достойного партнера. В конце концов ее спасает русский писатель, и они вдвоем уезжают в тайгу, на острова, где русский писатель сочиняет свой новый роман. Все это происходит в изящном обрамлении политической и экономической суеты.

Такой вот русский писатель! Когда он идет, то земля дрожит под ногами и все живое в панике разбегается. Но зато он хорошо пишет. Когда же идет американский писатель, все только рады, все хотят ему дать, поэтому он и пишет, откровенно говоря, херово, потому что человек пишет хорошо только тогда, когда ему не дают, а кто и когда не давал американскому писателю? Разве что только в прошлом его воплощении, когда он был русским писателем.

Ничего, пройдут года, русские писатели соберутся и отделают американских писателей не только литературно, но и физически, и тогда будет небо в алмазах, и наступит новая жизнь, совсем не похожая на прежнюю.

Главный редактор
А.МИХАЙЛОВ

Художественный редактор
И.БЕЛОГОРЛОВ

Технический редактор
Т.МЕЛИХОВА

Подписано к печати 30.08.91.
Формат 60 x 90 / 16.
Бумага офсетная.
Печ. л. 6.
Уч. изд. л. 7.
Тираж 20 000 экз.
Цена 3 руб.

Отпечатано с готовых диапозитивов
